

INSPIRIA

МОЖЕТ БЫТЬ, ОДНАЖДЫ

«Роман, наполненный теплотой».
КАРМЕЛ ХАРРИНГТОН



ДЕББИ ДЖОНСОН



INSPIRIA

Сирсаке. Женские истории

Дебби Джонсон

Может быть, однажды

«ЭКСМО»

2021

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Джонсон Д.

Может быть, однажды / Д. Джонсон — «Эксмо»,
2021 — (Circake. Женские истории)

ISBN 978-5-04-175006-0

Добрая и светлая история, которая дарит тепло и надежду. Я и не представляла, что эта надежда существует, а она вдруг осветила мое будущее, совсем как солнечные лучи, пробивающиеся сквозь лимонно-желтое полотно. Надежда. Как я без нее жила? Много лет Джесс верила, что Джо – отец ее ребенка и мужчина, которого она любила, – бросил ее в самый трудный момент жизни. Семнадцать лет спустя, убираясь в доме матери, Джесс находит на чердаке коробку со старыми письмами и открытками. Выцветшие почтовые штемпели только добавляют вопросов, и, чтобы на них ответить, Джесс отправляется в путешествие. Неужели ее история любви еще не закончена? Может быть, однажды она снова встретится с Джо. «Роман, наполненный теплотой». – Кармел Харрингтон

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-04-175006-0

© Джонсон Д., 2021
© Эксмо, 2021

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	8
Глава 3	16
Глава 4	22
Глава 5	27
Глава 6	31
Глава 7	35
Глава 8	40
Глава 9	43
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Дебби Джонсон

Может быть, однажды

Debbie Johnson

MAYBE ONE DAY

Copyright © 2021 Debbie Johnson

This edition published by arrangement with Madeleine Milburn Ltd and The Van Lear Agency
LLC

© Гордиенко В., перевод на русский язык, 2022

© Издание на русском языке, оформление. Издательство «Эксмо», 2022

Глава 1

О любви написаны тысячи песен, повестей и поэм. Миллионы страниц усеяны миллиардами слов, бесчисленные грустные песни спеты в бесчисленных барах потрепанными жизнью мужчинами под не менее потрепанные гитары. Бесконечные ночи опалены поиском идеальной половинки, того, кто появится, и все будет хорошо. Того единственного, который все – абсолютно все – исправит.

Если повезет, любовь приходит рано, в детстве. Внимательные и добрые родители обожают тебя и во всем потакают. В книгах повсюду встречаются картинки мультяшных зайчишек, которые просят угадать, как сильно они тебя любят. Друзья, братья и сестры, тетушки и дедушки – огромный мир любви окутывает тебя подобно мягкому защитному кокону.

Впрочем, проходит не так много времени, и о любви уже говорят не мультяшные зайчишки и не мама с папой. Тебя окружает совершенно другой мир. Теперь любовь – это мальчик, который сидит перед тобой на уроке географии. У него густые кудри, дерзкая улыбка и классные кроссовки. От его улыбки у тебя кружится голова, а его имя ты тайком выводишь на внутренней крышке школьного пенала, примеряя его фамилию к своему имени задолго до свадьбы, которая непременно состоится.

Ты прожужжала о нем все уши подругам, и все твои мысли занимает только он. Каждое его слово, каждое движение, даже то, как он жует самую обыкновенную жевательную резинку, ты обдумываешь с утра до ночи. Нет никого важнее на всем белом свете, в нем заключен смысл жизни. Может быть, так не у всех. Бывает, девочка вздыхает по мальчику, мальчик страдает по девочке или пары составляют как-то иначе. Быть может, нежные чувства приходят в четырнадцать лет или когда ты разменяла четвертый десяток. Но однажды это все же случается – начинается поиск любви.

И в этом наваждении ты не будешь одинока. На самом деле мало какая тема так подробно обсуждалась и в то же время так плохо понималась. Никто и представления не имеет о том, что такое любовь, – так мне кажется. Мы все любили, однако каждый по-разному.

Голоса в радиоприемниках, проигрывателях и айподах по всему миру, слова на страницах книг на пыльных полках библиотек и магазинов, вырезанные на коре деревьев сердечки – все говорят о любви по-своему. Вот только никак не могут договориться о том, что же это такое – любовь.

Нечто огромное и великолепное или пустяковое и безумное? Поле битвы или наркотик? Алая-преалая роза, раскованная мелодия или бесплодные усилия? И верно ли, что нам нужна только она одна, как уверяли *The Beatles*?

Черт его знает – я с самого начала не могла найти ответа.

Однако кое-что я знаю совершенно точно – в моей жизни любовь была. Я ощущала ее прикосновения, расцветала в ее свете, менялась благодаря ей. Любовь была благословением и опаляющим огнем. Когда ее забирали, у меня оставались глубокие шрамы, а в невосполнимой пустоте селилась боль. Я видела любовь уложенной в маленький белый ящик, который катили по проходу церкви.

Я жила с любовью, а потом много лет без любви – и я точно знаю, какая жизнь мне по душе. Дети в таких случаях говорят: «Ежу понятно».

И вот сегодня вечером, укрывшись слишком знакомым стеганым одеялом в слишком знакомом доме среди слишком знакомых шорохов, я решила, что надо быть храброй. Отыскать в душе отвагу и снова отправиться на поиски любви. Надо сделать первый шаг, а потом посмотрим, чем закончится эта история. Я должна его найти, обнять и рассказать о том, как отчаянно сожалею о случившемся с каждым из нас.

Жизнь не научила меня верить в сказки и счастливые развязки. Я не прекрасная диснеевская принцесса, в моем мире нет и не было идеальных мгновений, трогательных речей и страстных желаний.

Но сегодня, засидевшись за чтением в серебристом лунном свете, льющемся сквозь незашторенное окно, я приняла решение: попробую сделать так, чтобы моя история обрела счастливый конец. Даже если шансов маловато.

Минут десять назад солнце показалось над кронами деревьев, прогоняя лунное серебро. Еще один рассвет. Новое начало. Время заново открыть для себя то, что, казалось, потеряно навсегда.

Всего двадцать четыре часа назад, собираясь на похороны, я проснулась, почистила зубы и в одиночестве выпила чай на кухне. Я готовилась навеки проститься с женщиной, которую любила. Трудно поверить, что с тех пор миновал всего один день.

День, который начался с похорон, но окончился надеждой. Надежду я обнаружила в свертке из папиросной бумаги, надежно спрятанном в коробке на давно пустующем чердаке, среди старой одежды, клочьев паутины, рядом со сломанной швейной машинкой. Я и не представляла, что эта надежда существует, а она вдруг осветила мое будущее, совсем как солнечные лучи, пробивающиеся сквозь лимонно-желтое полотно.

Надежда. Как я без нее жила?

Глава 2

Начало – днем раньше

Похороны моей матери, скромные и печальные, пришлось на солнечное утро в начале лета, отчего кажутся еще невзрачнее. Природа празднует, но никто не рад.

К эффектному зданию крематория ведут аллеи, усаженные раскидистыми вишневыми деревьями – ветви, усыпанные бело-розовыми соцветиями, клонятся к земле, а лепестки трепещут на ветру и, танцуя в воздухе, облетают на дорожки и черный кузов единственной похоронной машины, в которой я еду на церемонию.

За окном – жизнь, возрождение природы; поют птицы, тихо жужжат насекомые. Солнце нежно греет сквозь стекла автомобиля, и я закрываю глаза, запрещая себе наслаждаться летним теплом. Радоваться в такой день мне кажется по меньшей мере непочтительным.

На церемонию прощания собралось всего пять человек, считая викария. Или священнослужителя – возможно, так правильнее называть женщину средних лет, которая стоит перед нами, пытаясь сплести осмысленную поминальную речь в честь покойной, с которой не была знакома, той, чья жизнь кажется слишком мелкой, слишком незначительной – едва наберется, о чем сказать в положенные для последнего слова пять минут. Она была моей мамой, и я ее любила. Однако сказать о ней могу немного.

Мы сидим в бликах солнечного света, проникающего в зал сквозь витражи. Уместились на одном ряду. Я, тетя Розмари, дядя Саймон и мой кузен Майкл – вот и весь мамин круг. Она не планировала церемонию похорон. Мама вообще была не из тех, кто оставляет особые распоряжения о том, как следует отметить окончание земной жизни.

Конечно, не порази ее четыре года назад несколько инсультов подряд, возможно, она бы и составила подобное расписание на этот день. Однако в последние годы у нее едва хватало сил съесть самостоятельно ложечку фруктового желе, о пожеланиях насчет последнего прощания речи даже и не шло.

Служба – благословение небесам – быстро заканчивается, можно стряхнуть ощущение неловкости. Меня в очередной раз поражают границы, в которых прошла жизнь моей матери, строго очерченное пространство, где она не смогла развернуться в полную силу. Она жила на сцене в оттенках бежевого. Жаль, что в ней не было чуть больше радости, непредсказуемости, бесшабашной смелости нарушать правила.

Неподалеку, прямая, как палка, сидит сестра моей матери, Розмари. Если в тетиной душе и бушуют чувства, она их не показывает – ни всхлипа в зажатую в кулаке салфетку, ни прикосновения к руке мужа в поисках сочувствия. Ничто в ней не напоминает о том, что мама, с которой Розмари выросла и, наверное, играла и смеялась в беззаботные детские годы, мертва. Мне трудно представить их вместе, вообразить готовыми к приключениям и отважно-беспечными.

Я всегда мечтала о сестре. Наверное, вдвоем нам жилось бы очень весело. Было бы с кем разделить радости и печали, на кого опереться в такой день, как сегодня. Однако, глядя на тетю Розмари, я понимаю, что мои мечты, скорее всего, никогда бы не осуществились.

Розмари выглядит в высшей степени собранно и бесстрастно, как истинная англичанка, и ее манеры заразительны. Мы все стараемся вести себя соответственно, прощаясь с женщиной, которая была женой, матерью, когда-то, возможно, любовницей, а прежде вечно недовольным подростком, маленькой девочкой, у которой выпадали молочные зубы. Наверное, она мечтала, строила планы, отчаянно к чему-то стремилась, чего-то желала, о чем-то сожалела. По крайней мере, я надеюсь, что так было.

В моей памяти она навсегда – только Мама, а Розмари не из тех, кто рассказывает о прошлом. Быть может, ей слишком больно об этом вспоминать. Быть может, я ошибаюсь, и под ее холодным панцирем спокойствия разверзается пропасть нестерпимой боли.

У меня тоже болит душа, я тоже едва сдерживаюсь, чтобы не выплеснуть на окружающих мой личный ад. Я несколько лет ухаживала за мамой, подчинив свою жизнь строгому расписанию необходимых процедур. И пусть физически она ослабла и даже говорила с трудом, это все же была она, моя мама.

Не стану лгать, отрицая, что меня порой не охватывало острое желание обрести свободу, забыть о расписаниях, сиделках, посещении больниц, врачей и постоянном ощущении скованности, невозможности сделать что-то незапланированное, спонтанное.

Что ж, вот она, желанная свобода, и я готова вернуть этот подарок, не разворачивая. Такая независимость кажется лишней, переоцененной, особенно если получить ее в обертке из вины, перевязанную блестящей ленточкой горя.

Мама не была молодой. Она долго и тяжело болела. Мама, как говорили или туманно намекали все, кто помогал за ней ухаживать в последние годы, наверное, и сама мечтала упокоиться с миром.

Было ли в воображении доброжелателей упокоение чем-то вроде райских облаков, на которых мама восседает в окружении ангелов рядом с любимыми (как сказала Элейн, ее сиделка), или прямолинейное «Теперь ей хотя бы не больно» (как обронил наш семейный врач), или что теперь мама «живет среди духов иного мира» (как обмолвилась в аптеке кассирша со стеклянными сережками), все сходились во мнении, что маме, если говорить без лишних сантиментов, среди мертвых лучше, чем среди живых.

Может быть, они правы, кто знает? Никто. Однако неприятные мысли без конца вертятся у меня в голове. Мне стыдно, что я желала свободы. Стыдно, ведь я хочу, чтобы мама была жива, хоть ее и терзала боль. Я понимаю, что ее больше нет, и от этого нам обоим легче, и ей, и мне, и тут же стыжусь облегчения. Меня охватывают слишком сильные чувства, чересчур беспорядочные. Я будто на американских горках, с которых не сойти, взлетаю и падаю в пропасть.

Однако все это скрыто за бесстрастным выражением лица. Нельзя подводить остальных, да и у тети Розмари может случиться сердечный приступ. Круговорот эмоций надежно спрятан у меня глубоко внутри, свернут пружиной, полный ярости и желания вырваться на волю.

Я не дам слабины на людях. Ни при викарии, ни при служителях, переносящих гроб, ни при организаторе похорон, ни при родных – сколько бы их ни осталось. Мама сгорела бы со стыда, потерей я лицо при посторонних. Она плакала только перед экраном телевизора, сочувствуя персонажам мыльных опер. Заливалась слезами, глядя на утраченную любовь, разрушенные семьи и изменников-ловеласов. В жизни, пока ее здоровье серьезно не пошатнулось, она всегда была сдержанна, аккуратна и пунктуальна.

Мне кажется, она бы одобрила такие похороны. Ей бы понравилось прощание. Никаких рыданий, стенаний, битья в грудь – минимум эмоций. Церемония прощания должна быть такой же, какой была она сама, сдержанной, аккуратной и пунктуальной.

И потому я держу все в себе, едва слышу, о чем говорят, старательно отвожу глаза от гроба – такого нестерпимо огромного. Я не могу спокойно смотреть на этот ящик, потому что в нем лежит моя мать. Гроб – зримое и осязаемое доказательство ее смерти.

Когда наконец все слова сказаны, церемония прощания окончена, гроб скользит по рельсам и скрывается за волшебным занавесом. Все так странно и невероятно, будто происходит с кем-то другим, а я, покинув собственное тело, наблюдаю за случившимся со стороны.

Выйдя из зала, мы останавливаемся в тени готического здания Викторианской эпохи, защищая глаза козырьком ладоней от грубого вторжения солнечных лучей, которые прорываются сквозь прорехи в водостоках и огибают темные углы. Мы стоим небольшой нескладной группой, все в черном, – ожившие светские условности.

Мы выходим, а на наше место на конвейере смерти прибывает новое семейство – длинная вереница блестящих автомобилей, шумные, рыдающие родственники, пышные букеты гвоз-

дик и лилий, из которых складывается «Дедушке». Под песню Фрэнка Синатры «*My way*» безутешные друзья и родные входят в здание.

После прощания наверняка накроют роскошный стол – будут и пироги со свининой, и яйца по-шотландски, выпивка рекой, слезы и, возможно, даже драка. Они всё сделают по-своему.

Всё не так, как у нас, и Розмари бросает на них полные неприязни и отвращения взгляды, как будто горевать напоказ непростительно и неприлично и так делают лишь низы общества. Сбросив щелчком с плеча черного жакета бело-розовый лепесток, тетя молча отворачивается.

У нас поминок не будет. Ни караоке со слезами в пабе, где мы, скорбно улыбаясь, поделились бы драгоценными воспоминаниями, рассказами о тяжелых временах. Мы просто разойдемся в разные стороны.

– По крайней мере, ее страдания закончены, – произносит Розмари.

– Благодарение небесам, – поддакивает Саймон.

– Конечно, вы правы. Спасибо, что пришли, – отвечаю я, потому что этого от меня ждут.

Потому что в память о маме я тоже буду сдержанной, аккуратной и пунктуальной. Хотя бы еще несколько минут.

Тетя и дядя вежливо меня обнимают, как будто так ожидается, и их объятия словно взяты из «Книги этикета на похоронах близких родственников» – короткие и сдержанные, физический контакт сведен к необходимому минимуму. Объятия предлагаются и принимаются с равным отсутствием энтузиазма с обеих сторон. И вот уже я с огромным облегчением провожаю взглядом направляющихся к своему «Ягуару» родных.

Майкл остается со мной. Рассуждая простодушно, можно предположить, что двоюродный брат пытается поддержать меня в трудную минуту. А если забыть о доброте, то ясно: он, наверное, готов на что угодно, лишь бы не оставаться с родителями дольше, чем требуют приличия. Хотя вполне возможно, что верно и то и другое.

На похороны мы приехали врозь: я – на машине похоронного бюро, Майкл – на своем «Фиате 500», а его родители на «Ягуаре». И не надо быть Фрейдом, чтобы докопаться до сути. Наша семья развалилась, можно не сообщать об этом окружающим, надев майки с кричащими надписями «Неблагополучное семейство».

Сотрудники похоронного бюро уехали на больших черных машинах, чтобы доводить до белого каления водителей на городских автомагистральных. После короткого обмена репликами Майкл предлагает подвезти меня до дома, и я с благодарностью соглашаюсь. Нет сил, да и не хочется поддерживать беседу с водителем такси. Долговязый двоюродный брат неуклюже забирается за руль крошечного «Фиата», будто великан в автомобиль лилипутов, и я сажусь рядом.

Мы едем молча, уяснив за годы воспитания в нашей семье, что молчание – единственный достойный способ общения. Молча ни скандала не закатить, ни непристойности не ляпнуть. Майкл включает радио, и мы виновато улыбаемся развеселому хиту Кэти Перри. Песня будто режет по-живому, такая неподходящая, бесшабашная. Розмари бы такого не одобрила, отчего песня становится еще более острым запретным удовольствием.

Вместе с Майклом и под пение Кэти мы добираемся домой, туда, где я выросла.

Дом стоит особняком – очень красивый, в эдвардианском стиле, из мягкого светлого камня. Дверь ровно в середине фасада, окна большие, на втором этаже пять спален. В таком доме должно было жить куда больше народу, чем собиралось в этих стенах даже по праздникам, здесь ожидалось больше веселья, чем нам довелось испытать, больше шума и гама, чем мы произвели за всю жизнь.

Дом прячется в тихом уголке некогда небольшой деревушки, которая в пятидесятых годах прошлого века, воспользовавшись случаем, едва ли не против воли разрослась до городка.

Старые здания в городке симпатичные, деревянные или обшиты деревом, среди них и туристическая достопримечательность – выкрашенный в черно-белый цвет паб, и старомодная ратуша, и выстроившиеся вдоль центральной улочки причудливые домики, в которых открыли кондитерские лавки и всевозможные мастерские.

В новой части города, построенной во второй половине прошлого века, – пабы сети «Уэзерспун» и супермаркет «Альди» среди поистине уродливых безликих кварталов, где расположились букмекерские конторы, продавцы электронных сигарет и умельцы, готовые взломать любой мобильный телефон. Что-то вроде современного Содома и Гоморры, как считали мои родственники.

Наш дом стоит на усаженной деревьями улице и надежно защищен со всех сторон фешенебельными кварталами. Неподалеку – утиный пруд, почта и начальная школа, в которой я работаю.

Открыв тяжелую деревянную дверь, я переступаю порог и останавливаюсь – в старом доме прохладно даже в жаркий день. Взгляд цепляется за осколки маминой жизни, впившиеся в дом, будто занозы в кожу. Вот ходунки, которыми она почти не пользовалась; вот кресло с откидной спинкой – в нем она практически жила; на низком столике – таблетки, микстуры и тонометр – провода свиты в кольца, будто спящие змеи.

Дни, месяцы, годы и десятилетия впечатаны в стены – замерли в слоях обоев, спят рядом с давно вышедшими из моды настольными лампами восьмидесятых годов прошлого века, шелестят в тяжелых складках жаккардовых штор, призванных не пропускать свет в гостиную, когда мама сидела перед телевизором и смотрела «мыльные оперы», которые она, как уверяла при жизни отца, ненавидела.

Папа сериалы на дух не переносил – следить за перипетиями жизни ничем не примечательных людей, да еще и выражающихся не слишком грамотно, он считал бессмысленной тратой времени.

Когда отец умер, я было решила, что мама вырвется на свободу, сбросит путы до тошноты правильной жизни и станет ходить на буйные вечеринки, ужинать заварной лапшой в чем мать родила или начнет петь а капелла в хоре.

Но она всего лишь принялась смотреть сериалы «Жители Ист-Энда» и «Улица Коронации». Вот и весь бунт. На большее ее мятежного духа к тому времени не хватило.

Майкл ошеломленно трясет головой. Он на удивление похож на Шэгги из мультика про Скуби-Ду, когда тот входит в дом с привидениями.

Конечно, Майкл не раз бывал у нас, но сейчас, без мамы, здесь все стало другим – старомодным, застывшим в прошлом, как будто время в этих стенах замерло. Даже мне, хоть я и прожила здесь много лет, дом кажется немного чужим с вроде бы привычными затхлыми запахами, потускневшими коврами и гулким, неодобрительным тиканьем часов.

Майкл уходит на кухню, прижимая к груди сумку, которую привез с собой и оставил на время церемонии прощания в машине, а я рассматриваю осколки оборванной жизни и раздумываю, что же с ними делать.

Наверное, приглашу профессиональных уборщиков, или выброшу все ненужные вещи в огромный мусорный бак, или устрою распродажу на лужайке перед домом. Добропорядочные соседи придут в ужас, увидев слегка подержанную мебель, принадлежавшую аккуратной пожилой даме, выставленную за бесценок.

А может быть, вдруг приходит мне в голову, пока я раздвигаю тяжелые шторы, впуская в гостиную солнечный свет, оставить все как есть? В сущности, все готово для моих преклонных лет и телесного угасания, которое наступит спустя несколько десятилетий. Мне достанется

и мягкое кресло с откидной спинкой, и целый набор неработающих пультов дистанционного управления, которые жалко выбросить, – все станет моим! Судьба меня ждет!

За спиной слышится мелодичное позвякивание, и появляется Майкл. Он выходит из кухни с двумя высокими бокалами в руках и улыбается так загадочно, будто только что заключил особенно выгодную сделку с дьяволом на удачном перекрестке. Бокалы до краев наполнены чем-то шипучим и украшены картонными фигурками фламинго на разноцветных соломинках. Можно подумать, мне подают коктейль в баре где-то в Майами.

– Розовый джин! – триумфально восклицает Майкл. Заметив, что я скептически поднимаю брови, поясняет: – Она бы одобрила...

– Неужели? – уточняю я, принимая из его рук бокал и подозрительно прихихиваясь. – Моя строгая мама, поборница трезвости, для которой чай в пакетиках был признаком упадка морали, одобрила бы розовый джин в день своих похорон? Да еще и с фламинго?

– Может, и нет, – с готовностью соглашается Майкл. – Она бы наверняка решила, что фламинго на редкость вульгарны. Но знаешь что, Джесс, милая моя, посмотрим правде в глаза – мне трудно это выговорить, но она умерла. А ты жива. И тебе, судя по всему, совсем не помешает глоток джина.

Майкл развязывает галстук, расстегивает верхние пуговицы на рубашке и сбрасывает элегантные туфли, под которыми обнаруживаются носки с вышитыми названиями дней недели – «среда» на левой ноге и «суббота» – на правой. На самом деле сегодня вторник. Майкл нарочно надел разные носки, это его вариант эпатажа. В нашей семье и такая малость – чудо неповиновения.

Моему двоюродному брату двадцать один год, и он вполне мог бы быть моим сыном, если бы я, конечно, родила его в старших классах школы. Я и была юной мамой, только не для Майкла. Он стал поздним подарком, отпрыском весьма уважаемой семьи – моих дяди и тети, которые, как я всегда подозревала, занимались любовью всего раз в жизни, да и то в темноте, почти не раздеваясь и едва шевелясь.

Несмотря на разницу в возрасте, мы с Майклом очень близки. Гораздо ближе друг другу, чем остальные члены нашей на редкость странной семейки. Мы, будто парочка выживших после кораблекрушения, цепляемся друг за друга на спасательном плоту. Правда, на самом деле никакого спасательного плота нет, мы отчаянно бултыхаемся и гребем, пытаясь держать голову над готовой поглотить нас стихией.

О своем первом сексуальном опыте Майкл рассказал мне и сразу заявил, что ему не понравилось. А немного погодя сообщил, что, возможно, не понравился ему не секс, а сам факт, что случилось это с женщиной.

Мне же Майкл поведал о первом бойфренде, о первых страданиях безответной любви, поделился решением сообщить родителям, что жениться не собирается, по крайней мере, не на какой-нибудь «милрой девушке», и внуков от него не дожидаться.

Родителям, впрочем, он так ничего и не сказал, по крайней мере, пока. Не так-то просто раскрыть душу противникам однополых браков и нетрадиционных отношений. Тетя и дядя вообще выступают против всего, что хоть немного отличается от их образа жизни.

Отправляясь в отпуск, они всегда останавливаются в отелях, где предпочитают проводить время состоятельные англичане, общаются только с членами гольф-клуба, безукоризненно чистыми, с какой стороны ни посмотри. Родители Майкла не из тех, кто меняет свое мнение. Они не злые, просто застывшие, как будто трупное окоченение настигло их при жизни.

Внешне Майкл ничуть не похож на карикатурного гомосексуалиста, впрочем, иногда может изобразить такого персонажа, просто чтобы повеселиться. Но чаще всего выглядит, по его собственным словам, как «нормик». Однако мне кажется, что тете Розмари все известно.

Впрочем, даже если Розмари и знает об особенностях сына, то не обращает на них внимания в надежде, что все изменится к лучшему. Что сын придет в себя. Возможно, у него такой

период и он просто шутит, восстает против нормального мира, как некоторые вступают в лейбористскую партию или слушают ритм-н-блюз. Тетя Розмари точно не станет вытаскивать на всеобщее обозрение нечто грязное и неприличное вроде сексуальной ориентации и секса.

Обессиленно опустившись на диван, я приступаю к розовому джину. Мне нечего терять, кроме собственной трезвости, а ее значение сильно преувеличено. В бокале оказывается довольно крепкий джин безо всяких добавок, и я невольно морщусь. Однако, когда льдинки тают, он приятно обжигает горло. Я пью, и фламинго внимательно смотрит на меня огромным глазом.

Оглядевшись, Майкл усаживается в мамино кресло. В то самое, на подлокотнике которого выстроились, будто готовые выполнить приказ солдаты, пульта управления телевизором и еще неизвестно чем. В этом кресле мама в последние годы проводила все время, из него, тяжело опираясь на сиделку, перебиралась по вечерам в спальню всего в нескольких шагах от гостиной. Двоюродный братец нажимает на кнопку и вытягивает на поднявшуюся подставку ноги в разных носках.

– «Жители Ист-Энда» начались? – лукаво хихикая, спрашивает он.

– Майкл, какой ты бесчувственный! Я только что похоронила мать. И не готова смеяться.

– Разве? А мне кажется, вполне готова, – тоном умудренного жизнью старца отвечает он, указывая своим фламинго на моего и поднимая бокал. – Мне кажется, ты распрощалась с матерью давным-давно. Ты знала, что в последние годы ее и живой-то назвать было нельзя. Равно как и знала, что она такая же, как многие женщины, которые влачат существование, даже если не могут свалить свой образ жизни на инсульты и инфаркты. Жаль, что тетя Рут ушла в лучший мир, но еще печальнее будет знать, что ты так и не вернулась к нормальной жизни.

Я отказываюсь выслушивать придирки от мужчины, который размахивает у меня перед носом соломинкой с фламинго, однако вынуждена признать, что есть в его небрежных словах о матери и обо мне зерно мудрости.

Как ни неприятно признавать, но в чем-то Майкл прав. И возможно, что тоже очень неприятно, эта его правота меня и пугает. Заставляет признать, что я стою на распутье и очень сомневаюсь, что дьявола когда-нибудь заинтересует моя душа. Я для него слишком скучная. Сделав разумный, на мой взгляд, выбор, я одним глотком допиваю джин.

– Надо вынести отсюда кое-какой хлам, – говорю я, оглядывая осколки чужой жизни, уродливые керамические фигурки, медицинские приборы, которые уже никому не помогут, хоть и призваны были заботиться о здоровье.

– Вот это правильно! – с энтузиазмом восклицает Майкл, выпрямляясь в кресле. – Давай напьемся и вынесем бабулю из этого дома без остатка. Знаю, она не была бабушкой, но дом кажется пристанищем настоящей бабули!

У меня перехватывает дыхание. На лбу пульсирует жилка, в груди что-то трепещет. Давно со мной такого не бывало: не накатывали некогда привычные ощущения, похожие на старых друзей, которых вовсе не хочется видеть. Предвестники непреодолимого страха, панической атаки, когда горло сводит и в изголодавшиеся легкие не удастся протолкнуть ни глотка воздуха.

Мама была бабушкой, на самом деле была, но совсем недолго. Недостаточно долго. Майкл не понимает, что он на самом деле сказал, о чем случайно напомнил. Конечно, ему известно, что меня в семье считали паршивой овцой, еще когда он пешком под стол ходил, но свидетелем моим безумствам он быть не мог из-за разницы в возрасте. А сейчас он слишком молод, чтобы понять, как горе неотступно преследует человека, будто воришка, пытающийся разглядеть через плечо код, который ты вводишь в банкомате, и отключить тебя, врезав тяжелой дубиной по голове.

Майкл не понимает. И я искренне надеюсь, что еще не скоро поймет.

Вскочив с мягкого кресла, он объявляет:

– Схожу за новой порцией джина. И захвачу побольше мешков для мусора.

Я с улыбкой киваю, глядя ему вслед, и чувствую, как подергивается правый глаз. Медленно вдыхаю через нос и выдыхаю через рот. Повторяю упражнения, которым меня научили давным-давно в здании с бледно-зелеными стенами, тревожными кнопками на дверях и лившейся из акустических колонок нежной музыкой, как в бесконечном фильме ужасов.

Там жили сломленные люди. Усевшись в кружок на пластиковые стулья, они делились страхами с человеком, который много лет изучал боль, но так и не смог ее понять. Родители отвезли меня туда, когда реальный мир попросту исчез, когда меня затянуло в неизвестность, будто слабого жеребенка в зыбучие пески. Никто из нас ни разу не упоминал об этом месте, память о нем стерли, негласно условившись не возвращаться ни словом, ни мыслью к прошлому. И я добровольно последовала их примеру.

До сих пор не знаю, зачем мы притворялись, будто ничего особенного не случилось. Будто я никогда там не бывала. Можно подумать, мои «проблемы с нервами» – коллективная галлюцинация и следовало спрятать их за слоями полуправды и отговорок. Возможно, так родители пытались меня защитить. Возможно, не хотели разрушать ощущение правильной, размеренной жизни. Мама с папой больше нет. И я никогда не узнаю ответ. Даже если бы они все еще были со мной, задать им вопрос и получить ответ было не так-то просто. Такое любопытство они восприняли бы в штыки.

Когда Майкл возвращается, я сижу, прижав руку к груди, пытаюсь унять рвущегося из клетки зверя.

– Ты как? В сознании? – спрашивает он, склонив голову набок. В руках у него два бокала с джином, а под мышкой зажат рулон черных мусорных мешков.

– Все отлично, – вставая, непринужденно лгу я. Беру бокал и выпиваю так быстро, что глаза Майкла заметно округляются. – С чего начнем?

– С посещения группы анонимных алкоголиков, если ты собираешься продолжать в том же духе, – отвечает он.

– Не собираюсь, – убеждаю его я. – Принято в медицинских целях. Мне нелегко. Со мной нелегко. И с мамой всегда было трудно. Хочешь идти – иди, я справлюсь.

Сказано слишком резко, и я понимаю, что поступаю несправедливо. Майкл ничего плохого не сделал, всего лишь оказался рядом, когда нервы у меня натянуты, как струны, готовые оборваться и вибрирующие в поисках камертона.

Он пристально смотрит на меня, скорее всего заметив и подергивающийся глаз, и побледневшие щеки, и до боли сжатые кулаки. Быть может, раздумывает, не привезти ли еще выпивки.

– И не надейся, дорогая кузина, – протягивая мне черный мешок, улыбается Майкл. – Я здесь с тайными намерениями. Хочу получше рассмотреть скелеты в шкафах, поискать преступные тайны... Ну, знаешь, перебрать коллекцию фаллоимитаторов твоей мамочки и примерить блондинистые парики твоего папочки, пройтись по игровой комнате на чердаке, как в «Пятидесяти оттенках серого»...

Он нарочно пытается меня смутить и ошарашить. Мой милый Майкл не знает, как поступить, а потому идет напролом, когда чувствует себя неуверенно. Знает, что я не обижусь и не отвечу, со мной можно сквернословить и дуться сколько душе угодно.

С родителями ему приходится старательно изображать послушного идеального сына, который изучает юриспруденцию и готовится вступить в жизнь с полного одобрения мамы и папы. А вдали от них скрытые до поры до времени мятежные порывы вырываются буйными вихрями, захватывая оказавшихся рядом, швыряя во все стороны камни грубости и цинизма. Я улыбаюсь, давая понять, что все понимаю, все в порядке.

– Латексные маски и блестящие кисточки для сосков я уже выкинула, – сообщаю я, стискивая в кулаке мешок для мусора, едва не протыкая тонкий пластик ногтями. – На чердаке ты

в лучшем случае обнаружишь фотографии твоей покорной слуги обнаженной. Был мне тогда год, не больше.

Майкл взмахивает рулоном мешков, будто дирижер палочкой, и объявляет:

– На чердак, мальчики и девочки!

Глава 3

На чердак ведет лестница – узкая, крутая, на каждой ступеньке сложены книги и стопки накрахмаленных простыней, которые ни разу за последние десять лет не касались постелей. Едва хватает места, чтобы поставить ногу, и на каждом шагу кажется, будто вот-вот полетишь вниз, кувырком по ступенькам.

Наверное, давным-давно на чердаке была гостевая спальня или даже, когда дом строили, здесь хотели поселить няню или горничную.

Для меня, однако, чердак оставался таинственным, но совершенно неинтересным местом, куда мама относилась все ненужное. Сюда, в безопасный угол, отправлялся в забвение постыдный хлам, который никто не увидит. Я забиралась под крышу всего несколько раз, но эти вылазки показались такими скучными, что эта комната потеряла для меня всякую привлекательность и загадочность.

Это был мамин мир, и она его грозно оберегала. Отцу, бухгалтеру-налоговому в одной давно разорившейся компании, которая производила рыболовные снасти, позволялось хранить на чердаке только старые документы – а в них даже любопытный ребенок не найдет ничего таинственного и заманчивого. Мама редко не соглашалась с папой, однако на все его попытки захватить ее личную империю под крышей отвечала безмолвным, но непрекращаемым отказом.

По большей части она использовала это дополнительное пространство для швейных и рукодельных принадлежностей в те дни, когда у нее хватало сил и желания заниматься творчеством. До инсультов. Она взбиралась сюда, прижимая к груди рулоны тканей, а позади по ступенькам волочились развернувшиеся полосы материи.

Сегодня я впервые за долгие годы отважилась подняться по этим ступенькам. Раньше не было необходимости – дом и так достаточно велик, к чему мне еще одна комната, в которой будет так же одиноко, как везде.

Майкл идет за мной следом, мы оба ступаем осторожно, оба молчим, цепляясь за деревянные перила и пытаясь не сбить со ступенек аккуратно сложенные стопками вещи.

– Почему у меня такое ощущение, как будто мы делаем что-то очень и очень предосудительное? – шепчет он. – И почему я говорю шепотом?

– Не знаю, – шепчу я в ответ, едва не наступив на пачку журналов «Дома и сады», которым уже лет двадцать. – Но у меня такое же ощущение!

– Жутковато, правда? – говорит он, останавливаясь за моей спиной на последних ступеньках так близко, что я слышу его дыхание. – Можно подумать, здесь витает дух мисс Хэвишем¹. Или нам предстоит найти иссохший труп Хуана, красавца-садовника из Гватемалы, который исчез летом семьдесят девятого года...

Взявшись за ручку двери, я медлю и оглядываюсь на Майкла.

– Ну что? – возмущенно шипит он.

– А то – Майкл, ты зря тратишь время на законы. Бросай все и становись писателем.

– Есть такая мысль, – отвечает он, – приберегаю на потом. Вот поработаю годик юристом и стану новым Джоном Гришэмом, только гомосексуальным, а на обложке каждой книги буду писать «бывший юрист», чтобы читатели воспринимали меня серьезно... Неважно, я об этом редко говорю, да и хватит обо мне. Может, наконец откроешь эту дверь? Я люблю тебя нежно и преданно, Джесс, но предпочитаю не оказываться лицом так близко к твоей заднице.

Рассмеявшись, открываю дверь. На чердаке темно, и хоть я никогда не признаюсь, мне тоже немного не по себе, да и, правду сказать, я слегка опьянела.

¹ Мисс Хэвишем – персонаж романа Ч. Диккенса «Большие надежды».

Пошарив рядом с дверным косяком, я дергаю за шнур, и комнату заливают тусклый свет единственной голой лампочки, которая болтается под крышей.

Взбираюсь на последнюю ступеньку и захожу в самую высокую часть чердака, где можно стоять почти выпрямившись, не боясь удариться головой о деревянные балки. То есть мне-то места достаточно, а вот Майкл вымахал выше шести футов и теперь, сгорбившись, осторожно шаркает по полу. Он с детства был высоким, подростком всегда немного сутулился, и сейчас его поза кажется очень знакомой.

Воздух здесь затхлый. Все покрыто пылью и затянуто рваными сетями паутины. Со всех поверхностей, которых мы касаемся, слетают серые комочки и поднимаются в воздух в мертвенном свете одинокой лампочки.

Мой нос непроизвольно морщится, пытаюсь защититься от натиска пыли. С каждым вдохом в мое горло будто бы засыпается мелкий песок. На полу – старый кусок ковролина, наверняка остаток рулона, которым покрыли лестницу, и с каждым моим шагом в воздух поднимаются маленькие облачка глубоко въевшейся грязи.

Лицо Майкла искажает гримаса отвращения. Он не любит пачкаться, тем более сейчас на нем костюм, в котором он был на похоронах. В эту минуту Майкл наверняка тщательно планирует, как будет отмываться и приводить себя в порядок, между делом оглядывая чердак в поисках признаков асбеста или смертельно опасной плесени.

Осматриваясь, я вижу смутно знакомые шкафы для хранения документов, в которых папа держал важные записи. Провожу пальцем по тусклым металлическим ящикам, удивляясь, как это мама не выбросила их после папиной смерти. Вряд ли налоговые декларации ныне несуществующей компании кому-то еще понадобятся. Может быть, передвигать и разбирать их было слишком трудно, а может быть, эти шкафы напоминали о папе. Об этом я тоже никогда не узнаю.

Майкл выдвигает один из ящиков и сразу же несколько раз быстро и резко чихает, потому что облако пыли взрывается у его лица, будто граната.

– Апчихи!

– Будь здоров, – говорю я, касаясь вытянутым пальцем содержимого ящика.

Сложенные внутри бумаги пожелтели и пожухли, края обтрепались, на стопке документов, будто украшение, лежит давно сдохший паук, свернувшийся жестким шариком. Я отдергиваю руку, и Майкл быстро захлопывает ящик, как будто пряча грязную тайну, с которой предпочел бы не сталкиваться.

– Да, просто замечательно... – бормочет он себе под нос. – Пожалуй, после такого приключения мне стоит принять особенно долгий и горячий душ. И физически, и морально. Мне нужно духовно очиститься в спа-салоне.

Я киваю. Майкл прав, и я прекрасно понимаю, что он имеет в виду. Нас окутывает не только пыль, проникая внутрь сквозь одежду и кожу, но и запах. Запах плесени, сырых темных углов и прошлых жизней, о которых теперь позабыли. Запах смертей, больших и малых, и брошенных вещей, сгрудившихся здесь в общей печали.

Заметив в углу мамину старую швейную машинку, там, где скат крыши касается пола, я вдруг отчетливо вспоминаю солнечное утро и швейную машинку на мамином столе в дальней комнате. Кажется, все случилось вчера. Я была в саду, играла, как все одинокие дети, одаренная бурным воображением и развитым интеллектом. Разговаривала с червяками, заводила дружбу с жившими под трухлявым пнем мокрицами.

Наверное, я была тогда совсем маленькой – лет четырех или пяти. Помню, как подняла голову и посмотрела в большое эркерное окно, где за швейной машинкой сидела мама. Бросив все дела, она просто сидела и смотрела на меня. На долю секунды я почувствовала себя самым любимым и обожаемым существом на всем белом свете. Я помахала маме, и волшебство рассеялось. Она вернулась к работе, как будто смутившись, что я заметила ее в такую минуту.

И вот швейная машинка, некогда блестевшая черными и золотистыми боками, теперь блеклая и невзрачная, стоит в кругу тусклого света. Вокруг стопки тканей, лоскутки разных цветов и текстур, незаконченное шитье – одежда, шторы и остальные вещи. Пиршество для моли.

Мама перестала шить задолго до первого инсульта. Честно говоря, она многое перестала тогда делать – в ней будто не осталось сил жить. Словно все несчастья, которые я принесла в ее жизнь, а потом и ранняя смерть отца совершенно ее опустошили. Инсульты стали следствием того, что она уже умерла во всем, что имело значение.

К глазам подступают жгучие слезы – хочется оплакивать себя, ее, все, что могло быть и чего никогда не было и не будет. Слезы я прогоняю – для них еще будет время, потом. Когда я останусь одна в спальне дома, который теперь принадлежит мне, и начну жизнь, с которой не представляю, что делать.

Майкл осторожно перебирает стопку фотоальбомов: любопытство перевесило отвращение к таким явно грязным и пыльным предметам. Когда он открывает выбранный альбом, слышится сухой треск – картонный корешок ломается пополам, а Майкл с сожалением морщится.

– Джек-пот! – восклицает он, глядя на меня с ухмылкой. – Джесс в чем мать родила! Хороша ты в купальнике, малышка!

Рассмеявшись, я подхожу, чтобы взглянуть на фото. В руках у Майкла альбом из тех, в которых фотографии приклеены к толстым картонным страницам и накрыты прозрачными листами целлофана. Таких альбомов ровесники Майкла, дети цифровых технологий, наверняка и в руках не держали.

Картон пожелтел, страницы сморщились. Это и правда я на фотографии, сижу в надувном детском бассейне, у нас в саду. На мне старомодный купальный костюмчик с юбочкой с оборками.

Вид у меня немного встревоженный – в детстве у меня почти всегда был такой вид на фотографиях. В восьмидесятые годы фотографировали «настоящими» фотоаппаратами и самому процессу уделяли много внимания – отец не любил зря тратить пленку и готовил меня к каждой съемке минут по десять, не меньше. На наших семейных снимках вы не найдете искренних улыбок – только встревоженную малышку.

Мне грустно смотреть на себя маленькую – смешной купальник, а брови напряженно сдвинуты, как будто девочка смутно представляет, что ее ждет. Я листаю страницы: мама, папа, всегда отдельно, потому что один из них фотографирует. Я в первый день в школе, все с тем же заплаканным выражением лица.

Майкл достает другие альбомы из той же картонной коробки, встряхивает каждый и стирает пыль, тут же вихрем взлетающую в воздух. Переворачивая страницы, он пускается в отстраненное путешествие по моему детству, забавно комментируя мои ужасные зубы, нескладную фигуру и вечно встревоженный вид.

– Такое впечатление, что тебе очень нужно в туалет по-большому, – говорит он, рассматривая фотографии. – Ты что, страдала запорами?

– Ну да, – отвечаю я, – это лицо хоть на плакат, рекламирующий слабительное. Просто... время было другое. Мы тогда не жили в социальных сетях. Не фотографировали ужины и не показывали блюдо за блюдом друзьям. Не делали селфи. Это кадры, вырванные из жизни, а не то, что попадает на твой круглосуточно работающий смартфон.

– Слава тебе господи! – восклицает Майкл, прикладывая руку к груди в притворном ужасе. – Такими картинками можно обрушить все сети!

Он берется за следующий альбом, и я вижу себя в школьные годы: широкие брюки с низкой талией, конечно, очень шли девчонкам из хип-хоп-группы *TLC*, чего не скажешь обо мне, жилет цвета хаки, фланелевая рубашка в красно-черную клетку. Стоило мне выбраться

из дома и оказаться вдали от родительского надзора, мой наряд дополняли большие серьги-кольца и неумело сделанный макияж.

Я тщетно старалась выглядеть модно, надеялась, что окружающие увидят во мне поклонницу гранжа, так популярного за океаном, ведь именно в Сиэтле кипит настоящая жизнь, хотя втайне я отдала свое сердце *Spice Girls*. Меня манили приключения, я видела себя на месте Баффи, истребительницы вампиров, но на самом деле боялась даже ездить на автобусе.

Ну вот, на этой фотографии я, по крайней мере, улыбаюсь – искренне, по-настоящему, а не кривлю рот в полугримасе, как на предыдущих снимках.

Я даже помню, когда сделали это фото – в мой первый день в колледже. Мой первый день вдали от средней школы для девочек, в которую я ходила столько лет, первый день без отвратительной школьной формы и плиссированной юбки. Тот самый день, когда я решила переродиться в более оригинальную, более свободную – в великолепную меня.

В тот день я решила, что звать меня будут Джесс, а не Джессика и что у меня будет тайная жизнь, полная чудес. Весь мир лежал у моих ног, и я сделала первый шаг по дороге, на которой меня, несомненно, ждали удивительные и волшебные события. Неудивительно, что я улыбалась.

Чтобы сбежать от мира школы для девочек и плиссированных юбочек, мне пришлось выдержать настоящую битву с родителями. Мама и папа пришли в ужас, когда я сообщила о своем желании поступить в колледж, учиться в большом здании из кирпича и бетона, добираться до которого приходилось на автобусе, петлявшем через наш городок и огибавшем еще два таких же местечка, прежде чем оказаться на окраине Манчестера.

Колледж располагался даже не в самом Манчестере, но достаточно близко к городу, чтобы родители видели в нем прибежище произвола, где я вполне могла встретить барабанщиков из рок-групп, или даже мужчин с татуировками, или девушек, чьи шеи обмотаны цепями, или другие сатанинские силы, которые только и ждут, чтобы развратить их милую дочурку. Сейчас я гораздо лучше понимаю родителей, сочувствую им – тогда я жила под их крылом, и то, что казалось мне диктатом и контролем, было проявлением заботы.

Я не так часто чего-то требовала, но в то лето я с ни с чем не сравнимым упрямством добивалась своего. Либо мне позволят окончить старшие классы школы и сдать выпускные экзамены в колледже, либо я вообще не стану учиться и никуда не поступлю. Родители в конце концов сдались, о чем тут же пожалели – и я сама дала им повод. «Мы тебе говорили» звучало тогда постоянно.

После того первого дня со мной многое произошло. После того как меня сфотографировали. Все изменилось, ничего не осталось прежним. Жизнь закружила меня, понесла к лучшему, а потом и к худшим временам.

Забрав альбом у Майкла, я осторожно его закрываю и сдуваю пыль, которая тут же улетает к одинокой лампочке под потолком и принимается выплясывать польку в желтоватом свете.

Я не готова погрузиться в воспоминания о тех годах. Может, я никогда не буду к этому готова, но точно не могу этого сделать в день маминых похорон.

Он смотрит на меня, хмурится, пытается понять, почему я решила так внезапно прервать наш ностальгический вечер.

– Это долгая история, – не вдаваясь в подробности, отвечаю я. – Для другого раза. Да и мне не хочется, чтобы ты видел мои слабые попытки походить на див хип-хопа.

Майкл кивает, понимая, что дело не только в неудачном выборе модного гардероба. Прикусив губу, я умоляющим взглядом прошу Майкла оставить фотографии в покое, позволить мне не возвращаться сегодня к прошлому.

– Ладно, – говорит он и убирает альбом в коробку. – Посмеемся над этим в другой раз, Куин Латифа.

Майкл закрывает коробку, и я благодарно касаюсь его руки.

Мы одновременно неловко застываем на месте от смущения – нас воспитывали одинаково, и даже обычные прикосновения не входят в список приемлемого поведения в обществе. Мы как будто топчемся на краю темного глубокого колодца и не знаем, как быть дальше.

Наконец Майкл идет дальше, отыскивает все новые сокровища, которые мы вместе рассматриваем.

Заклученная в рамку свадебная фотография моих родителей – они смущенные и немного подавленные, а рядом Розмари, мать Майкла, на удивление юная и прелестная в платье подружки невесты.

Папины походные сапоги, в комьях засохшей грязи, такой старой, что в ней, наверное, можно найти окаменелости.

Коллекция кулинарных книг – страницы загнуты, рецепты дополнены маминым аккуратным почерком, там и тут пятна и следы брызг, говорящие о том, как долго книгой пользовались на кухне.

Деревянный сундучок, набитый бижутерией, которую я никогда не видела на маме. Подсвечник со свечами – некоторые целые, некоторые наполовину сгоревшие – размягченный огнем воск застыл твердыми каплями. Потускневшие рождественские украшения сложены в побитую временем большую тряпичную сумку.

– Пока все очень скучно и банально, – говорит Майкл, – честно говоря, хочется посмотреть «Отверженных», чтобы чуть-чуть развеселиться.

С этими словами он тянется к тяжелой бархатной портюре малинового цвета с золотыми кистями, которой прикрыта еще одна куча хлама.

– Если здесь есть хоть что-то стоящее, то хранится оно наверняка там, за алым бархатом с золотой отделкой... это ложа для ВВП-персон!

Майкл театральным жестом отбрасывает портюру в сторону под торжествующее «Та-да!», и нашим взглядам открывается нечто за облаком пыли – мы терпеливо ждем, пока оно рассеется. Вознаграждены мы удручающим зрелищем: два складных садовых стула со сломанными металлическими ножками, набор разнородных тарелок и старая коробка из-под обуви.

Обувная коробка когда-то принадлежала папе – узнаю название фирмы на крышке. Он всю жизнь носил броги на работу. Папа предпочитал черные, никогда не покупал коричневые или светлые, всегда выбирал одни и те же в дорогом лондонском магазине. Вряд ли папину жизнь можно сравнить с жизнью Оскара Уайльда, однако он действительно любил хорошую обувь.

Майкл берет коробку и откидывает крышку. Внутри мы оба видим нечто, завернутое в выцветшую розовую папиросную бумагу. С первого взгляда не разобрать, что это, но точно не броги.

Майкл приподнимает брови, кривит губы и выдыхает взволнованное «Ооооох!».

– Вот оно! – с напускной серьезностью провозглашает он. – Нутром чувствую. Это бриллиантовая тиара. Или кукла вуду. Или коллекция фальшивых паспортов и пачки иностранной валюты, потому что твой папа на самом деле – тайный агент ЦРУ. Здесь наверняка что-то судьбоносное.

Закатив глаза, я забираю у Майкла коробку, удивляясь ее тяжести. Снимаю сморщенную папиросную бумагу и наконец вижу то, что скрывалось под ней.

Стопка бумаг самых разных форм и размеров, сложенных одна поверх другой. Похоже на письма или деловую корреспонденцию, края кое-где загнуты, окрашены, выглядят обрывки строк.

На самом верху лежит открытка, какие дарят на день рождения. На день рождения маленькой девочке – с мультяшным синеносым медвежонком. Медвежонок немного грустит,

хоть и сжимает в лапе связку красных воздушных шариков. Свернутый спиралью жгутик из фольги складывается в выпуклые слова «Моей дочери» и большую цифру 5.

Таких открыток родители мне не дарили. Это совсем не в их стиле. Я не в силах оторвать глаз от этой яркой безделушки, под которой собраны еще поздравления, письма и открытки, все они тянутся ко мне странно выступающими острыми углами, требуют внимания: посмотри на меня, посмотри на меня, посмотри... разве ты не хочешь узнать, что на мне написано? Разве не хочешь разгадать мои тайны?

Открытка начинает дрожать, и в конце концов я понимаю, что на самом деле дрожат мои руки.

С одной стороны, хочется положить открытку обратно, в коробку, трусливо похоронить в папиросной бумаге; закрыть крышку и спрятать всё под сломанный садовый стул, притвориться, что мы ничего не нашли.

С другой стороны, я понимаю, что веду себя глупо, – что такого в старой поздравительной открытке? Я ее не помню, но и ничего удивительного – мне ведь было всего пять лет. Наверняка поздравление для меня. Точно для меня, потому что единственное другое возможное объяснение грозит взорвать мой череп изнутри, как фосфорная граната.

У меня перед глазами мелькают дрожащие пальцы, грустный медвежонок расплывается. Все расплывается, даже звуки. Я слышу, как Майкл что-то говорит, но не разбираю слов из-за непрерывного монотонного шума. В голове звенит, я непрерывно моргаю, весь мир уходит на второй план.

Раскрываю поздравительную открытку. Вижу почерк, каракули, загогулины и страсть. Я читаю.

«Нашему прелестному ангелу Грейси. Мы втроем против всего мира. Я люблю вас обеих. Сейчас и всегда, папочка Джо-Джо». И три крестика-поцелуя.

Не может быть. Я ошибаюсь. Это не от него. Он ушел задолго до того, как Грейс исполнилось бы пять лет. Он бросил меня, бросил нас, уплыл от разбитого корабля нашей жизни в новую бухту.

Я передвигаю бумаги от одной картонной стенки к другой. Здесь, в этой коробке, где нет обуви, все: поздравительные открытки, другие странички – все подписано одним и тем же корявым почерком. Все в этой коробке, до последнего клочка бумаги, от него.

Осознание этого простого факта происходит и мгновенно, и медленно. С одной стороны, мой мозг доходит до сути за наносекунду, а с другой – медленно ползет к цели. Наконец обе половинки встречаются, и неотвратимая правда высвечивается яркими неоновыми буквами.

И эта правда гласит: он никуда не уплыл. Он нас не бросил.

И еще это означает, *ipso facto*², что родители меня обманули. Получается, что все, чему я так долго верила, основано на лжи. Вся моя жизнь прошла в тени этой лжи, лишенная света. Я тихо выживала, так и не расцвела.

Это значит, что люди, которые, как я думала, любили меня больше всех, мама и папа, обманули меня в самом главном.

У меня вдруг за секунду слабеют ноги, как будто мне отрезали ступни и все мышцы, сухожилия и все, что связывает тело воедино, выпало из меня. Горло сжимается, не пропуская даже слюну. Лицо горит, и я понимаю, что нужно сесть, прежде чем я упаду.

Майкл, стоя рядом со мной, вынимает из моей безвольной руки открытку и читает поздравление.

– И кто же такой этот Джо-Джо? – спрашивает он.

² *Ipsa facto* – самим фактом (лат.).

Глава 4

Сентябрь 1998

Устроившись наконец на сиденье автобуса и бросив последний взгляд на застывшую вдали фигурку мамы, которая машет ей вслед, Джессика с облегчением вздыхает и достает Большую Сумку Тайных Запасов.

Первыми из сумки появляются серьги-кольца и заменяют в ушах крошечные золотые сережки-гвоздики, которые Джессика носит давным-давно и с которыми она похожа на непокорную монахиню.

Потом надевает наушники, что гораздо неудобнее поверх больших серег, чем кажется. Провод то и дело цепляется за серьги. Джессика стягивает резинкой длинные золотистые волосы в конский хвост, чтобы провод не путался в прядях, и включает CD-плеер Sony.

Она слушает песню «Don't Speak» группы No Doubt, потому что Гвен Стефани именно такая крутая девчонка, какой хочет быть Джессика, в противоположность идеальному образу, какой рисуют себе родители, пытаясь сделать дочь похожей на юную принцессу Диану.

Дальше – косметика. Джессика никогда особо не красилась, так что опыта у нее мало. В старой школе косметика была под строжайшим запретом, а учительница, миссис Боун, на переменах патрулировала игровые площадки с пачкой влажных детских салфеток в руке, которыми без лишних разговоров вытирала лица накрашенных преступниц.

Джессика училась краситься дома, в своей комнате, по ночам, и иногда в гостях у подруг, но до совершенства еще далеко. Зато кожа у нее теперь гладкая, прыщи почти не беспокоят. Целых два года ее лицо было покрыто отвратительными красными пятнами, как будто она подцепила ужасную средневековую болезнь, о которой они читали на уроках истории. Crusticus explodicus.

В Большой Сумке Тайных Запасов она хранит кое-какие ценности, среди них матовую губную помаду оттенка нюд и коричневый карандаш для губ. В журнале Sugar Джессика прочла о том, что любой девушке этого достаточно, и надеется в мгновение ока стать похожей на Кейт Мосс.

Подпрыгнув вместе с автобусом несколько раз на «лежачих полицейских» и смирившись с недостатком опыта в обращении с косметикой, Джессика наконец решает, что лучше не рисковать зрением и не наносить на ресницы еще слой туши. У Кейт Мосс наверняка есть личный стилист, который приводит ей лицо в порядок и уж точно не делает этого в автобусе.

К тому времени, как тюбики и бутылочки убраны в Большую Сумку, Джессика уже не уверена в том, что ее попытки себя приукрасить увенчались хоть малейшим успехом. Как большинство шестнадцатилетних девушек, она не осознает, насколько красива на самом деле. Джессика слишком много времени тратит на самокритику, так что на уверенность в себе ничего не остается, а косметика не меняет ее внешность настолько существенно, насколько она надеялась. Она все та же – только ресницы слиплись от туши.

Пока автобус подпрыгивает и петляет среди лугов и полей, прокладывая путь в пригород, Джессика наблюдает, как к пассажирам присоединяются на остановках все более многочисленные группы подростков. Чем ближе к колледжу, тем больше учеников, тем они громче кричат и наглее себя ведут, и каждый раз ее воодушевление тает и уступает место чему-то более первобытному.

Автобус быстро наполняется, подростки толпятся в проходах, висят на поручнях, сидят друг у друга на коленях – и Джессика будто оказывается в цирке на колесах, из которого не выбраться.

Рядом с Джессикой сидит дородная женщина, ее зад занимает почти оба сиденья, а на лице гримаса осуждения и недовольства тем, что творится вокруг.

Джессика выключила CD-плеер, но наушники не снимает. Так она хотя бы отделяет себя от волчьей стаи.

Она старается держаться непринужденно, напустить на себя одновременно уверенный и независимый вид, не встречаясь ни с кем глазами, чтобы не привлечь внимания. Все вокруг незнакомо, неприятно и очень тревожит. И дело не только в шуме или во все сильнее охватывающей ее клаустрофобии, а в количестве чужеродных биологических видов – мальчишек.

Джессика и прежде встречалась с мальчиками, она же училась в школе для девочек, а не на Марсе жила. С некоторыми даже целовалась во время этих ужасных нелепых медленных танцев, которые случались на столь же ужасных и нелепых дискотеках – их устраивали совместно со школой для мальчиков и проводили под неусыпным надзором учителей и членов родительского комитета. И она рада, что так поступила, – ужасно, когда тебе почти семнадцать лет, а тебя ни разу не целовали, но все же непонятно, почему все сходят по поцелуям с ума.

Такое ощущение, как будто во рту кальмар – толстые скользкие языки и море слюны. Но может быть, думает Джессика, она еще не встретила того самого мальчика. Или, может быть, она вообще лесбиянка, что наверняка прикончит ее родителей. Их, например, шокировало известие о том, что Фредди Меркьюри – гомосексуалист.

Мальчишки в автобусе выглядят устрашающе, все в джинсах и коже, с болтающимися за спиной рюкзаками. Она понемногу начинает чувствовать себя так, будто угодила в документальный фильм о дикой природе, и вот-вот вообразит, как ученики с визгом и хохотом раскачиваются на поручнях и скачут по проходу, будто бабуины в брачный сезон. Они выпендриваются и ведут себя вызывающе, только что зады не оголяют.

Последние десять минут поездки Джессика сидит совершенно неподвижно, не издавая ни звука, надеясь, что, если притвориться мертвой, хищники ее не заметят.

Все окна или закрыты телами подростков, или запотели от их горячего дыхания и насытивших воздух феромонов, так что Джессика не уверена, когда же ее остановка. Наверное, стоит выйти вместе с этой многоголосой и разноцветной, толкающейся толпой.

Извинившись за беспокойство, Джессика протискивается мимо сидящей рядом дородной женщины, цепляясь за ее бедра, и торопится к двери по стремительно пустеющему проходу. Она последней выходит из автобуса и смотрит ему вслед, отчасти жалея, что не поехала дальше.

Она стоит одна в этот осенний день, забросив на плечо рюкзак, и моргает от яркого солнечного света. Толпа огибает ее, ученики не прекращают болтать.

Некоторые натываются на Джессику, кто-то бросает короткое «Извини!», другие смотрят так удивленно, как будто она внезапно материализовалась у них на пути. А одна девчонка – настоящий гот, от одного взгляда на которую Джессика кажется себе серой мышкой, – одаривает ее сверкающим взглядом густо обведенных черным глаз, кривит в усмешке темно-фиолетовые губы и произносит: «Что, няню потеряла?» – и тут же уходит, взмахивая короткой черной кружевной юбкой поверх лиловых леггинсов.

Когда бурный поток учеников редет, Джессика оглядывается. Она была здесь с родителями на дне открытых дверей, отчаянно пытаясь убедить маму и папу, что именно в этом колледже мечтает учиться, отец тогда бросил на здания острый взгляд и произнес:

– Как будто коммунажи понастроили...

В его устах это было одно из самых тяжких оскорблений, однако приходилось признать: понятно, что он имел в виду. Главное здание большое, из серого цемента, ничем не привлекательное. Двустворчатые двери распахнуты, и сквозь них проходят скопом ученики, по четверо или даже пятеро в ряд.

Джессика знает, что внутри здание производит другое впечатление – там целый лабиринт учебных классов, лабораторий, лекториев, а еще огромная библиотека и столовая. Есть и мастерские, и автомобильные гаражи, таинственные места, где старшеклассники учатся чему-нибудь практичному, вроде того, как отремонтировать машину или стать электриками. В огромной комнате отдыха полно торговых автоматов, стены увешаны плакатами, а на столиках – самые разные журналы. Здесь-то она и надеялась проводить время с новыми крутыми друзьями.

Впрочем, стоя во дворе, когда ноги дрожат, а губы искушены, Джессика уже не так уверена в принятом решении. Все совсем не так, как раньше, – нет аккуратно подстриженных лужаек, великолепных цветочных клумб и опрятного кирпичного здания в викторианском стиле, как в ее предыдущей школе, где все всегда на своем месте. Там Джессике все казалось пресным, слишком правильным и скучным, зато теперь она размышляет о том, насколько интересным должно быть нечто, чтобы перепугать тебя до смерти.

Вокруг кое-где зеленеют островки пожухлой травы, некоторые живые изгороди завяли, а нижние ветки кустов скрыты под впечатляющей коллекцией пакетов от чипсов, окурков и банок из-под кока-колы.

Сбоку от главного здания большая стоянка для машин – часть мест отведена для учителей, другая – для учеников. Перед Джессикой проезжает выдавший виды «Форд Фиеста», выплевывая клубы черного дыма и ярости, и, скрипнув шинами, заруливает на стоянку.

Слышится громкая музыка, что-то в стиле гранж, но мелодия Джессике незнакома, дверь автомобиля распаивается, и наружу вырываются облака дыма. От них исходит странный пряный аромат, обычный сигаретный дым так не пахнет, и Джессика понимает, что встретила то, чего больше всего опасалась ее мать, – передвижной притон курящих марихуану.

Из машины вылезает пятеро – четверо парней и одна девушка. Девушка ужасает и ошеломляет одновременно, она на редкость экзотична, как персонаж из кинофильма, – ее темные волосы заплетены в тугие африканские косички и украшены заколками с бабочками. Девушка в рабочем комбинезоне, одна ляжка не застегнута и болтается поверх «вареной» футболки.

Забросив за спину рюкзак, она тараторчит на Джессику.

– Как делишки? – усмехается девушка, проходя мимо. – Никогда черных красоток не видела, Бейби Спайс?

Джессике обидно и потому, что ей приписали расистские замашки, и потому, что сравнили с Бейби Спайс – она так старалась выглядеть стильной и изысканной, да и вообще ей через неделю исполнится семнадцать. Конечно, она слишком испугана, чтобы выдавить ответ, и девушка, широко шагая, проходит мимо, а трое парней бредут следом, докуривая сигареты. Водитель тщательно запирает двери автомобиля, хотя вряд ли кто-нибудь позарится на такое средство передвижения.

Парни одновременно замечают Джессику. Окружают ее, смеясь и подначивая друга друга, один из них специально выдыхает клуб дыма ей прямо в лицо. Она стоит прямо, решив, что справится, но, уронив рюкзак на испещренный мелкими дырами бетон, забывает обо всем.

Застыв от ужаса, она смотрит, как катится по земле ее косметика, CD-плеер и, что унизительнее всего, тампон. Чувствуя, как горят щеки, она опускается на корточки и пытается все собрать как можно скорее. Джессика чуть не плачет – как оскорбительно... неужели она совершила чудовищную ошибку? А родители были правы, и ей здесь просто не выжить? За одно утро она услышала больше непристойностей, чем за всю жизнь, и ее это порядком достало.

Утопая в слезах и смущении, под тихий гул в ушах, Джессика опускается на колени, пытаясь спасти тюбик с тушью для ресниц, который ее мучители пинают друг другу. Кро-

иечные камешки впиваются ей в ноги сквозь ткань широких штанов, а резинка, которой стянуты волосы, вот-вот сползет. Вне всякого сомнения, это самый худший момент в ее жизни.

Джессика не поднимает глаз, отчасти потому, что пытается отыскать тушь, и отчасти потому, что не хочет показать слез. Она не полная дура и знает, что надо хотя бы попытаться скрыть обиду и слабость. К ней приближаются потертые ботинки Dr. Martens – клетчатые шнурки туго затянуты, каблуки топчут нижний край джинсов.

– Эй, хватит, поднимите все! – слышит она чей-то голос, слова долетают сквозь надоедливый шум, наглый смех и улюлюканье. – Ну!

Она осмеливается бросить взгляд вверх и видит, что троица отступает, издевательски посвистывая, но все же отступает. Один из нахалов выкрикивает что-то вроде «Остынь, папаша!», но парни слушаются. Как будто пришел возжак и стая уходит вместе с облаком дыма и шумом.

Кто-то уверенно забирает у нее из рук рюкзак и складывает в него все выпавшие на бетон вещи. И даже несчастный тампон – к счастью, молча, без единого слова.

– Ты как? Нормально? – спрашивает он, протягивая ей руку. – Идешь на занятия или собираешься стоять здесь весь день?

Джессика делает глубокий вдох, прищуривается, чтобы незаметно стряхнуть последние слезинки, и задает себе, наверное, самый глупый в таком положении вопрос: «Что бы сделала Баффи?»

И тут же решает, что Баффи наверняка бы тоже испугалась, но потом бы справилась. Истребила бы страх.

Джессика принимает руку помощи, и ее буквально ставят на ноги, лицом к лицу со спасителем. И из нее снова будто бы вышибает дух, потому что перед ней самый потрясающий и сексуальный парень, какого она видела в жизни, и ее будто швыряет о стену. Быстро моргая, она пытается сообразить, что бы такое ответить, не показавшись сбежавшей из психиатрической лечебницы, но безуспешно.

Он высокого роста, даже выше отца. У него широкие плечи и длинные ноги – это мужчина, а не мальчик. Конечно, она потеряла дар речи, ведь таких парней она не встречала. Мужчины, с которыми она привыкла общаться, либо родители ее друзей, либо учителя, либо прыщавые подростки. А сейчас перед ней стоит совершенно новый тип, вот слова и застряли в горле.

Конечно, позже она придумает самые разные смешные ответы. Великолепные и остроумные, в которых отразится ее ум и раскованность, что-то вроде диалогов из юмористических шоу; но сейчас, в эту минуту, язык у нее прилип к нёбу.

На парне мешковатые джинсы и комковатый свитер, кое-где дырявый, и все же выглядит он вполне прилично. Густые темные пряди выбиваются из-под облегающей вязаной шапочки, в одном ухе блестит серьга – высоко, наверное, там прокалывать было больно.

Он в темных очках, сегодня солнечно, и потому она прощает ему очки, да и вообще готова простить все что угодно. К тому же очки у него с овальными линзами, какие носил Курт Кобейн. Парень снимает очки, за которыми скрываются темно-карие глаза.

Он улыбается ей, почти улыбается. Намекает на улыбку, приподняв с одной стороны уголок губ, и этого достаточно, чтобы Джессике нестерпимо захотелось снова присесть на бетон.

– Отдашь руку, Бэмби? Она мне еще понадобится, – говорит он, и Джессика заливается краской, заметив, что до сих пор крепко за него держится.

Она тут же разжимает пальцы и забирает у парня свой рюкзак.

– Спасибо, – наконец выговаривает она. – Я здесь... в первый раз.

– Неужели? – резко подняв брови, спрашивает он, и в его темных глазах пляшет смех. – Ни за что бы не догадался. Знаешь, не обращай на них внимания – это... просто стая диких зверей, почуявших свежее мясо. Это ничего не значит.

У него странный акцент – вроде бы и городской, и еще какой-то, сразу и не определишь, но слушать его голос Джессика хотела бы с утра до ночи. Она буквально готова заплатить ему, чтобы он прочел ей телефонный справочник.

Голос у него такой потрясающе уверенный и самоуверенный – в нем все, к чему так стремится Джессика и чего у нее нет. «Интересно, – думает она, – если держаться с ним рядом, может, толика его уверенности перетечет в меня? Случится такая межличностная химическая реакция?»

– Наверное, я скоро привыкну, – отвечает она, забрасывая рюкзак на плечо, чтобы хоть на мгновение отвести от собеседника глаза. – Может, даже научусь кусаться в ответ.

– Это дело. Не давай ублюдкам себя сломать – вот мой девиз.

Она снова встречается с ним взглядом, и ее сердце заметно ускоряет привычный перестук. Он усмехается, но есть в его голосе что-то такое... как будто ему в жизни приходилось не раз встречаться с ублюдками и он выдержал не одну битву, не давая им себя сломать. Или, что тоже возможно, признается себе Джессика, она просто пересмотрела романтических фильмов и приписывает новому знакомому прошлое, которого у него никогда не было.

– Пошли, – говорит он, кивая на здание и опустевший вход. – Я тебя провожу. Ты же не хочешь опоздать на занятия в первый день?

Она мгновение обдумывает услышанное и кивает, потом собирается с силами и идет рядом с ним к двери колледжа. Внутри горит яркий свет, в коридорах бурлит жизнь, из классов доносятся громкие разговоры – ученики делятся важными новостями и рассказами о летних каникулах.

Быстрой волной накатывает паника, и Джессика останавливается, вдруг сообразив, что не знает, куда идти. Потом замечает огромную доску объявлений: «Информация для новых учеников».

– Давай подскажу, в какой тебе класс, – говорит он, подводя ее к доске. – Найди в списке название курса и рядом увидишь номер классной комнаты. Здесь три этажа, перед каждым номером класса ставят букву, получается что-то вроде 3Б или 2А. Ты быстро разберешься, Бэмби.

Она благодарно кивает.

– Почему ты зовешь меня Бэмби? – внезапно расхрабрившись, спрашивает она, хотя он уже отворачивается, собираясь уходить.

– Потому что ты симпатичная, у тебя огромные глаза и колени дрожат. И еще потому, что я не знаю твоего настоящего имени.

«Что ж, – решает она. – Могло быть и хуже». Он считает ее симпатичной, и пусть не к этому она стремилась, но это лучше, чем услышать о себе «отвратительная», например.

– Джессика... то есть нет. Просто Джесс, – твердо произносит она.

Явно забавляясь, он ей подмигивает.

– Понятно, Просто Джесс. А я Просто Джо. Увидимся. Да, и вот что, Просто Джесс... Может, заглянешь до звонка в дамскую комнату? У тебя тушь по всему лицу размазалась, как будто ты плакала.

Джессика торопливо подносит руку к щеке, рот у нее открывается сам собой, и ей очень хочется провалиться сквозь землю. Или упасть замертво.

Джо со смехом качает головой в притворном осуждении и говорит:

– Не расстраивайся так, Бэмби, ты все равно симпатичная.

Глава 5

Я прижимаю коробку к груди и, пошатываясь, спускаюсь по лестнице. На последних ступеньках нога соскальзывает, и я неловко пересчитываю оставшиеся задом, сшибая стопки старых журналов, которые разлетаются разноцветными кипами пыльных страниц.

Едва переводя дух, я застываю на минуту, тяжело дышу и ощупываю себя в поисках переломов, а Майкл тем временем спешит ко мне. Его шаги грохочут где-то вдали.

– Джесс! Джесс! Что с тобой? Ты жива? – его голос назойливо звенит в ушах. – Скажи что-нибудь, ради бога!

Оттолкнув ногой журналы и одинокую корзину с клубками шерсти, я пытаюсь взять себя в руки. На ощупь пробираюсь вдоль стен на лестничной площадке, желая лишь убежать, спрятаться, остаться одной.

Но я не одна. Майкл внезапно оказывается рядом, хватая меня за плечи, разворачивает к себе. Глаза у него огромные, в них отражаются крайнее удивление и страх, его губы шевелятся, но слова до меня не долетают.

Я стряхиваю его руки и бегу дальше, вниз по лестнице, в коридор, где скольжу в одних чулках по паркету.

Я знаю этот дом, прекрасно знаю. Я жила здесь с самого рождения, изучила эти полы и стены до последнего скрипа, до последнего потайного шкафа, до затянутых паутиной углов. Я знаю здесь все, но на минуту замираю, не зная, куда бежать.

Кипящая энергия буквально пронизывает меня, наполняя тело и разум маниакальным желанием идти вперед и яростью.

На кухню, решаю я, и бросаюсь туда. На кухню, где стоит большой стол из сосны, из панорамного окна открывается великолепный вид, а на стенах развешаны старомодные, начищенные до блеска кастрюли и сковородки.

Я ставлю коробку на стол и, отступив на шаг, пристально ее разглядываю. Что, если она сейчас оживет, откроется и с песней расскажет, как поступить?

Прижимаю руку к груди – сердце колотится с такой силой, что я ощущаю его удары подушечками пальцев: выпусти меня, выпусти меня, выпусти меня, я сидело взаперти слишком долго, черт возьми...

Вот и знакомые приметы того, что меня обманывает разум. Все кажется немного ненормальным, звуки слишком громкие, цвета слишком яркие, тело со мной разговаривает. Закрыв глаза, я медленно считаю, дышу глубоко и пытаюсь сосредоточиться на чем-то, не вызывающем сомнений.

Майкл уже рядом со мной, и я вслепую протягиваю руку, нащупываю его пальцы и крепко сжимаю. Майкл – настоящий. Он здесь, из плоти и крови, и я крепко за него держусь. Ощущаю его кожу, аккуратно подстриженные ногти, тепло его тела. Он – настоящий. Он здесь. Я – настоящая, и я тоже здесь.

Я успокаиваюсь и наконец готова открыть глаза. Чтобы попытаться заговорить.

– Извини, – просто говорю я, глядя Майклу прямо в глаза, давая понять, что вкладываю в это слово глубокий смысл.

Показываю, что я все еще в мире живых, в мире дееспособных, в мире умственно полноценных. Давно мне не приходилось это проделывать – вот так останавливаться и доказывать, что со мной все в порядке, и сразу вспоминается прошлое, когда я этому училась.

– Извиняю, дорогая Джесс, но, пожалуйста, не надо так со мной. Если у тебя поедет крыша, мне придется плеснуть тебе в лицо самым приличным алкоголем, какой только можно купить в нашей лавочке. А теперь серьезно: что за фигня с тобой творится?

– Что-то ты слишком часто прибегаешь к бранным словам, – отвечаю я, медленно разжимая пальцы и оглядывая кухню в поисках чего-то знакомого, домашнего, уютного. Все в порядке, если любимая мамина сковорода *Le Creuset* висит на привычном месте; если фарфоровый бочонок в белую и синюю полоску по-прежнему полон сдобного печенья.

– Иногда можно, а сейчас – тем более, – нервно парирует Майкл, глядя на меня, как будто я стеклянная и вот-вот упаду на каменный пол. Как будто ему надо успеть протянуть руку и подхватить, прежде чем я разобьюсь вдребезги. – И еще мне кажется, что сейчас самое время выпить. Стой на месте – не шевелись!

Я киваю и выдавливаю фальшивую улыбку, уверяя, что никуда не сбегу. Я никуда и не собираюсь. По крайней мере, пока не открою эту коробку. Пока не сниму папиросную бумагу, в которую завернуты письма и открытки, ту папиросную бумагу лжи, в которую завернута моя жизнь.

Больше пятнадцати лет я верила, что меня предали, и, невыносимо страдая от боли, пряталась в чулане страха. Больше пятнадцати лет я верила той правде, которая сделала меня покорной, безвольной, подавленной. Больше пятнадцати лет в моей жизни было лишь черное и белое вместо всех цветов радуги!

Содержимое этой потрепанной, невинной на вид коробки, которая стоит теперь на прекрасно отполированном столе в отдраенной до блеска кухне, может все изменить – и от этого мне очень страшно. Такие бумаги нельзя хранить в коробке из-под обуви. Их нужно держать в сейфе, обмотанном полицейской лентой, какой помечают места преступления, и оклеенном желтыми картинками со знаком «Радиация».

Пока Майкл шлепает по кухне и звенит бокалами, наполняя их розовым джином, я почти ничего не слышу. Один бокал он передает мне, и руки у него заметно дрожат. На этот раз никаких зонтиков с фламинго. От запаха джина меня мутит.

– На самом деле, – твердо сообщаю я, – мне хочется чаю.

Майкл приходит в ужас от такой просьбы, но покорно наполняет чайник, то и дело поглядывая на меня через плечо. Опускает в кружку чайный пакетик, вытирает со стола случайно пролитые капли, ополаскивает под краном тряпочку и аккуратно ее складывает. Все это мы делаем автоматически, так уж приучены с детства – нельзя оставлять после себя грязь, нужно быть опрятным, служить Богу Порядка.

Я присаживаюсь к столу и грею руки о чашку с чаем, а Майкл садится напротив, с таким отчаянием глотая джин, что художник Хогарт вполне мог бы взять его в натурщи и писать с него своих беззубых персонажей.

– Что ты обо мне знаешь? – осторожно спрашиваю я. – О моих... как бы тут выразилась твоя мама... о моих «трудных временах»?

– Ты о том, что всем известно, но о чем решено не говорить?

– Вот именно.

Майкл хмурится и отпивает еще джина – он словно в уме составляет список, перебирая в памяти двусмысленные разговоры и многозначительные взгляды.

– Ну, честно говоря, не все, – отвечает он. – Знаешь, как у нас принято – упаси господи сказать хоть слово о чем-то запутанном вроде чувств, или о неприятностях из прошлого, или о частях человеческого тела, которые издают хлюпающие и чавкающие звуки. Моя мать не признается, что ходит в туалет, где уж ей заговорить о том, что приключилось с тобой. Однако у меня все же сложилась кое-какая картина. Ты... болела. Не телом, а душой. Тебя положили в больницу. Вот и все – даже не знаю, почему это с тобой случилось. И как долго ты там пролежала. Я вообще ничего толком не знаю.

Я киваю – Майкл подтвердил мои предположения.

– Разве не странно, что ты знаешь так мало, – говорю я, глядя в сад, где аккуратно подстриженные живые изгороди и идеальной формы ели выстроились подобно расставленным ребенком солдатикам.

– Для нашей семьи – не странно. Ты же понимаешь, что если достаточно долго притворяться, что чего-то не существует, то это «что-то» действительно исчезнет. Например, я перестану быть гомосексуалистом, тебя вовсе не помещали в приют для умалишенных, а мой отец не трахает свою секретаршу.

– Да что ты? – От удивления у меня глаза лезут на лоб.

Дядя Саймон, такой серьезный, с тонкими поджатыми губами, весь в работе – нет, невозможно и вообразить! Да я не могу представить, чтобы он вообще с кем-нибудь трахался, даже с тетей Розмари. Особенно с тетей Розмари.

– Ну, не знаю. Про отца я придумал, просто для примера. Кажется, секретарш сейчас называют «личными ассистентами»... но у меня есть кое-какие подозрения. На работе он задерживается допоздна, а когда возвращается, то галстук на полдюйма сдвинут, временами у него на лице вспыхивает такая довольная улыбка... сама понимаешь, классические признаки. Мама наверняка обо всем знает – просто делает вид, что ничего не происходит, потому что так меньше шуму.

Он прав. Если у Саймона действительно интрижка на стороне, Розмари первой сделает вид, что ничего не видит, пока проделки мужа не выплывут, угрожая поставить Розмари в неловкое положение. Впрочем, тогда она, скорее всего, наймет киллера и потребует растворить тело мужа в соляной кислоте.

– Я знаю, что у нас за семья, Майкл, – ты совершенно прав. Но разве не странно, что мы с тобой тоже никогда об этом не говорили? Мы же друзья, правда? Так почему же ты ни разу не спросил: «Слушай, сестренка, а с чего у тебя вдруг тогда поехала крыша...», ну или что-то вроде того? Твое поколение гораздо больше знает о проблемах с психикой, чем мое – мы-то радостно обзывали друг друга шизиками и психами, просто так, шутки ради. Твои ровесники относятся к этому гораздо мудрее, разрушают вековые запреты. Так разве не странно, что мы с тобой ни разу об этом не говорили?

Побледнев, Майкл хмурится. Сейчас он такой юный, смущенный и явно желает, чтобы вековые запреты остались целыми и невредимыми.

– Ну да, наверное, странно, – наконец роняет он, пожав плечами. – Но как-то все случая не было. Да и я думал, что ты огорчишься, и еще... ну, подозреваю, что и мне хорошо промыли мозги. Под газировку успешно внушили, что семейные тайны лучше оставить за семью печатями. А ты... хочешь об этом поговорить?

У Майкла такое выражение лица, что я не могу удержаться от смеха. Его буквально разрывает: с одной стороны – природное любопытство, а с другой – страх перед чужими мрачными тайнами.

– Мне кажется, «хочешь» здесь не совсем уместное слово. Однако вот эта коробка на столе и моя реакция, когда мы ее нашли, – все это очень похоже на огромную бомбу, которая вот-вот взорвется. Вскоре, как только соберусь с силами, я ее опять открою и просмотрю все, что в ней собрано. Прочту все открытки, все письма, и тогда, вполне возможно, все изменится.

Вот я тебе и предлагаю выбор – знаю, что ты, может быть, не хочешь об этом говорить и вообще знать об этом. Если все так, если тебе трудно это слышать, тогда уходи. Я не обижусь и все равно буду тебя любить, обещаю. Но если останешься... тогда, скажем так, может получиться беспорядок.

– Не тот беспорядок, который можно убрать тряпочкой с моющим средством? – уточняет он.

– Ах, если бы... Тогда все было бы гораздо проще.

Майкл барабанит пальцами по столу, двигает туда-сюда челюстью, кусает губы – думает.

– Хорошо, – наконец объявляет он, решительно хлопнув в ладоши. – Я остаюсь. Из любопытства. Да и не могу просто так взять и уйти, неправильно это – бросать тебя одну в день похорон твоей матери, когда у тебя крышу сносит... а ты меня напугала, прям как героиня «Прерванной жизни»³. Как мне... ну, в смысле... что делать, если ты опять начнешь вот так...

– Хочешь сказать, что делать, если я съеду с катушек?

– Ну да, так и есть, только «съехать с катушек» сейчас говорить не принято. У нас, у поколения снежинок, как ты правильно отметила, не принято.

Я поддразниваю Майкла, и, наверное, это нечестно. Может быть, просто пытаюсь разрядить обстановку, избавиться от ужасного напряжения, называя тяжелую болезнь простыми словами.

Сейчас не время объяснять, что я страдала от посттравматического стрессового расстройства; услышав такое, Майкл только встревожится, вот я и решила оставить «техническое описание» на потом. А пока ограничиться детским «съехать с катушек».

– Если начистоту, Майкл, то я не знаю, что тебе тогда делать. Когда я заболела, мне было так плохо, что в памяти ничего не осталось. А потом, в течение нескольких лет после первого приступа, я долго лечилась. Очень долго. И это было ужасно и трудно, и до сих пор внутри все сжимается, стоит только вспомнить о тех днях. Но за это время я научилась кое-чему полезному, приняла к сведению дельные советы, усвоила, как шаг за шагом сохранять спокойствие и продолжать жить.

Меня научили правильно дышать, держаться за реальность, замечать малейшие намеки на паническую атаку, когда она только приближается, даже если распознать ее трудно. Пожалуй, я разбираюсь в этом больше, чем обычные люди. Например, за последние полчаса здесь, в этой комнате, я вышла из пике, собралась с силами после удара. Я помню, что почувствовала в тот момент, и чувства мои никуда не делись, но я их приглушила. Понимаешь?

– Это как когда перебрал кокаина, надо покурить марихуаны, чтобы прийти в норму?

– Не представляю, как это бывает, потому что не пробовала ни того ни другого. Искренне надеюсь, что и ты ничего такого не вытворял. Но... да, пожалуй, верно, если такое сравнение тебе понятнее.

– Не беспокойся, – говорит он, накрывая мою руку своей, – мне просто рассказывали, ну и видел кое-что. Я предпочитаю джин. Так... с чего начнем? Как нырнем в ужасающий поток времени и пространства?

Глядя на коробку, я чувствую, как меня пробирает дрожь волнения и страха. С чего начнем? Хороший вопрос...

С самого начала, с первых свиданий, первых поцелуев, первых признаний в любви? С его первой встречи с моими родителями, когда они объявили, что он мне не пара? С моего первого протеста, когда я заявила, что мне нет дела до их мнения, и провела ночь в объятиях Джо на заднем сиденье его машины, которую мы остановили под звездным небом, отправившись в Уиндермир?

Или с конца, с чудовищного, невыразимо ужасного конца, когда вся любовь, все прекрасные воспоминания, казалось, потеряли смысл?

Или с самого лучшего, с великолепной середины, с самых обескураживающих и самых счастливых дней моей жизни?

³ «Прерванная жизнь» – роман Сюзанны Кейсен о пациентке психиатрической клиники.

Глава 6

Октябрь 1999

– Джо, она такая крошечная, мне все время кажется, что я случайно отломлю ей руку, будто веточку дерева, когда переодеваю...

– Ну что ты, солнышко. Может, она и маленькая, но очень крепкая. Вся в маму. И очень красивая, тоже в маму.

Наклонившись, он целует малышку в лоб и потом так же целует Джесс. Джесс вовсе не чувствует себя красивой. Она никогда в жизни так не уставала, грудь ужасно болит, даже белье надевать больно, а в туалете каждый раз кажется, что из нее сейчас вывалятся внутренности.

Она рыдает над рекламой собачьего корма, от нее пахнет кислым молоком и отчаянием, и она не понимает, как можно справиться с такими волнами любви и страха, которые ее внезапно захлестывают.

Пока малышка не родилась, все казалось призрачным, нереальным, и вот она здесь, живет, дышит, крошечное красноелицее существо, то безмятежно спокойное, то яростно недовольное. Держать малышку на руках, ухаживать за ней, нести ответственность за ее жизнь и благополучие – все совсем не так, как Джесс себе представляла. Гораздо труднее.

Она вспоминает, как мать расплакалась от досады, узнав, что Джесс не просто уходит из родного дома, но и собирается растить ребенка с Джо Райаном, которого вполне можно считать живым воплощением Сатаны.

– Ты просто не представляешь, – произнесла тогда мать гораздо громче, чем говорила всегда, – не представляешь, что тебя ждет! Ты понятия не имеешь, что значит – заботиться о ребенке, ты сама еще ребенок!

Джесс тогда пришла в ярость. Решила, что докажет родителям, как они ошибаются. Она им покажет, что уже не ребенок, а женщина. Мать. Личность, которая живет так, как считает нужным.

Теперь, впрочем, Джессика тайком начинает подозревать, что мама, возможно, была права. Ей всего восемнадцать, ее переполняют сомнения, мучает страх, усталость – даже когда малышка спит, она не ложится, смотрит, как поднимается и опускается крошечная грудка, следит за каждым вздохом.

Джесс надеялась, что все битвы остались позади – отвратительные сцены в родном доме, отчаянные попытки раздобыть денег, перенос выпускных экзаменов на следующий год. Джо устроился механиком в автомастерскую. Его отчим при встрече смерил Джесс взглядом, будто тушу в лавке мясника.

Когда она обо всем рассказала родителям, они, конечно, пришли в ужас. Твердили, что дочь портит себе жизнь, что надо сходить к «специалисту», который исправит эту кошмарную оплошность. Когда она отказалась, начались крики, слезы и бесконечные обвинения, а хуже всего было то, как на нее смотрел отец – грустно, с мрачным отворачиванием, как будто любимая дочурка его жестоко разочаровала.

Потом посыпались угрозы арестовать Джо – стоило родителям смириться с тем, что ребенка Джесс оставляет, как они потребовали, чтобы дочь жила с ними. Возможно, надеялись, что смогут убедить ее отдать младенца приемным родителям или хотя бы сделать так, чтобы ребенок не мешал им жить.

Она помнит, как кричала: «Арестовать его? За что? Любить – это, черт возьми, не преступление, вы разве не знаете?!»

Теперь те дни кажутся ей сплошным сюрреализмом. Тогда она была храброй, полной ярости и готовой противостоять чему угодно. Она любила Джо. Он любил ее. Они будут любить ребенка и станут жить вместе. Вот так просто.

По крайней мере, казалось, что все так просто, потому что другого она и вообразить не могла. Даже когда они перебрались сюда, в однокомнатную сырую квартиру в Манчестере, даже тогда все казалось простым и понятным.

Денег у них не было. Мебель взяли в благотворительном магазине, ели лапшу быстрого приготовления и все время слушали музыку, потому что телевизора сначала не было. Соседи оказались страшные на вид и громко ссорились, а улицы за окном еще недавно испугали бы Джесс до дрожи.

Зато у нее был Джо – а остальное неважно. Джо был сильный, мужественный и знал все ходы и выходы, он заботился обо всем. Родители ей не нужны, а их порицание безразлично, как и их кислые гримасы осуждения и свое ощущение подавленной тоски. Все, что нужно, было у нее здесь, с ним – с парнем, который ворвался в ее жизнь и украл сердце в тот первый день в колледже и с тех пор с ней не расставался. Трудно представить проблему, которую Джо не смог бы разрешить.

А теперь... что ж, теперь она встревожена. Теперь ее охватил страх. Она ничего не знает о детях – первый младенец, которого ей довелось держать в руках, – ее собственная дочь. Когда девочка наконец появилась на свет – роды длились почти два дня, – акушерка-ирландка подала ребенка Джесс со словами «крупный младенец».

Спустя два дня они с Грейси вернулись домой. Крепко прижимая к себе мальшику, Джесс поднялась по лестнице в квартиру на третьем этаже. Она была измучена и сломлена телом и душой. Джо убрал в комнате, поставил в вазу цветы, устроил детский столик для переодевания, приготовил пеленки, салфетки и крем. Он все сделал правильно, но Джесс все равно мучил страх.

Она втайне была уверена, что мальшика ее не любит. Каждое кормление превращалось в маленькую битву, соски – поля сражений, в рассеянном младенческом взгляде будто бы читалось: «Что? Ты моя мама? Можно и получше найти...»

Они пробыли дома уже неделю, и Джесс все ждала: когда же случится чудо? Когда она почувствует себя как героини книг и фильмов? Когда раны перестанут кровоточить, а она прекратит плакать и станет вести себя как уверенная в себе взрослая женщина, которой ей так хочется быть?

Схватив ее за палец, Грейси прерывает мысленные стенания Джесс. Мальшика держится крепко, ее крошечные розовые ногти с белыми полукружьями идеальны. Джесс смотрит на дочь затуманенным взглядом и улыбается. Время от времени так и бывает – когда все хуже не бывает, нет сил, происходит что-то замечательное. В такие мгновения Джесс чувствует, что может быть, ну может быть, мальшика ее вовсе не ненавидит.

Джо смотрит на них с наивной улыбкой. Его темные глаза сияют, он бесконечно счастлив. Как будто выиграл самый главный приз в жизни.

– Вот видишь? – говорит он, ласково убирая прядь волос с лица Джесс. – Она знает, что ты ее любишь. Ты не сломаешь ей руку и не уронишь в ванной, не забудешь случайно в магазине, и она вовсе не станет строить планы, как бы зарезать тебя в кровати, едва научится держать нож...

Джесс выдавливает что-то вроде «Ха!» и улыбается. В самые трудные минуты она сама все это предположила. Как глупо это звучит теперь, когда она окружена любовью и охвачена эйфорией – ведь дочка держит ее за палец!

– Как так получается, – спрашивает Джесс, – что крошечный младенец полностью завладел нашей жизнью? Она ничего толком не чувствует. Ни о чем у нее нет своего мнения.

Не может даже самостоятельно перевернуться на живот, сесть или найти еду, однако она всем здесь заправляет, правда? Почему?

Джо садится рядом с Джесс на диван и обнимает ее за плечи. Даже сейчас, когда она словно выжатый лимон, совершенно разбита и устала, сердце Джесс бьется быстрее только оттого, что Джо рядом. Каким-то чудом с ним ей всегда становится лучше – она чувствует, что ее любят и оберегают. И верит, что все будет хорошо.

– Не знаю, Джесс. Загадка природы, наверное. И со временем станет легче, я точно знаю. Помню, как у одной из моих старших сводных сестер родился ребенок. Мальчик. Она была совершенно измучена, помощи ждать неоткуда, даже не знаю, как она справилась, но представляю, как было трудно. Отлично помню, как она говорила, что в тот самый момент, когда она собиралась все бросить, отдать ребенка чужим людям, или выкинуть из окна, или напиться от усталости, мальчик ей улыбнулся, и все изменилось. Наверное, самой природой так задумано.

Джесс кивает и рассеянно оглядывает крошечное лицо дочери. Их дочери... в самой мысли об этом есть что-то невероятное. Совсем недавно она бегала на тайные свидания к Джо, писала его имя на полях тетрадей, воображала Хитклиффа, героя романа «Грозовой перевал», который они проходили по литературе, с чертами Джо. Мечтала о Джо, когда они разлучались, боготворила его, когда они бывали вместе, и наконец поняла, почему девочкам так нравится целоваться. И выяснила, конечно же, почему девочкам нравится и все остальное – иначе Грейс не появилась бы на свет.

– Надеюсь, что станет легче, – говорит она, прислонившись спиной к груди Джо. – Потому что сейчас я чувствую, что ни с чем не справляюсь. Как будто я тебя подвела, Джо, и ее подвела, и просто... все порчу. Я так ее люблю, правда, но мне кажется, что я все делаю неправильно. Я гораздо лучше рассуждала о Шекспире, чем ухаживаю за ребенком. Я и не подозревала, что буду скучать по «Гамлету», но сейчас учеба кажется таким легким делом!

Она чувствует, что Джо немного напрягся, и смотрит ему в лицо. Он по-прежнему улыбается, но теперь грустно, и Джесс догадывается, что случайно его огорчила. Она знает, как он тревожится из-за того, что пустил под откос ее жизнь, потащил за собой, не позволив взлететь. Она знает, что его детство было горьким и трудным и что его никогда по-настоящему не любили, не ждали, в нем не нуждались.

– Джо, я ни о чем не жалею, – произносит она, нежно касаясь его щеки. – Ни о чем. У меня есть ты и Грейси, и этого вполне достаточно. Не обращай внимания на мои гормональные всплески и послушай, что я скажу: я всегда буду любить вас обоих, и пока мы вместе, все будет хорошо.

– Мы втроем против всего мира, – отвечает он и целует ее пальцы.

Потом встает и направляется к проигрывателю. Это старый аппарат, они отыскивали его в каком-то благотворительном магазине. Все переходят на CD-системы, и этот старичок достался им всего за пятерку. Джесс смотрит, как Джо выбирает пластинку, вынимает черный виниловый диск из чехла и ставит иголку.

Он протягивает к ней руки, и она неуклюже поднимается вместе с Грейси. Он обнимает их и крепко прижимает к себе под звуки музыки.

Джесс узнает мелодию по первым нотам. Это их песня, та самая, которую они слушали и под которую танцевали уже больше девяти месяцев. Это «Baby, I love you» группы Ramones.

Обняв малышку, они медленно движутся в танце – по истоптанному ковру, перед потертым диваном, мимо окон, в которые видны лишь серые улицы и залитые дождем здания. Они не обращают внимания на громкий скандал у соседей, на запах из забегаловки на первом этаже, где жарят кебаб, и на скрип половиц под ногами.

Джоуи Рамон поет им серенаду, в его голосе тоска и торжество, они танцуют в своем ритме, в такт песни и в такт биения сердца дочери.

И вдруг Джесс с неколебимой уверенностью понимает – все будет хорошо. Она именно там, где и должна быть, с теми, с кем ей быть суждено.

Джо обнимает ее за талию, она держит на руках дочь и ощущает себя самой богатой женщиной на свете.

Глава 7

– Земля вызывает Джесс, Земля вызывает Джесс... Ты жива? Слушай, ты так побледнела, и... ну, черт бы тебя побрал, но даже у меня сердце колотится как бешеное!

Майкл взывает ко мне, возвращая в настоящее. Мгновение я удивленно таращусь на него, вспоминая, где я и что происходит. Я на кухне моей недавно умершей мамы, рядом с перепуганным двоюродным братом, а передо мной – коробка, полная тайн. То, другое, прекрасное время, дни вместе с Джо и Грейс, – из другого мира. Из другой вселенной.

Нужно поговорить с Майклом. Все ему объяснить. Но сначала я сделаю глубокий вдох.

– Ничего, Майкл, все нормально, – тихо отвечаю я. – Просто я... кое о чем вспомнила. Итак, тебе не терпится задать вопрос?

– И не один, а семь миллионов. Но мне страшновато спрашивать, потому что... Не знаю, вдруг ты потеряешь рассудок, если не хуже. Тогда и мне придется последовать твоему примеру, и мы оба сойдем с ума. Так что передохни и не спеша расскажи мне то, о чем сама захочешь, а там будет видно.

Звучит разумно. Несмотря на все свои выдумки и детскую непосредственность, Майкл вполне разумный человек.

– Хорошо, – отвечаю я и одним глотком допиваю чай, морщась, когда чуть теплая жидкость попадает в горло. – Ну что, начну сначала. Незадолго до семнадцатого дня рождения я перешла учиться в колледж, тот самый, в пригороде Манчестера. Он до сих пор на том же месте, никуда не делся.

– Тот самый колледж, где процветает торговля наркотиками, у дверей стоят металлоискатели, а учителя – члены если не одной банды, так другой?

– В мое время все было не так, и я уверена, что ты преувеличиваешь – повторяешь глупости и предрассудки, которые слышал от родителей и соседей, что не может меня не огорчать. Тогда все было... иначе. Совсем иначе. В колледж принимали подростков из самых разных семей, нас было много, встречались даже... иностранцы!

Майкл смеется, слушая, с каким восторгом я шепчу последнее слово, будто делюсь с ним постыдной тайной – впрочем, в нашем чистеньком и опрятном мире благополучного детства все почти так и было. Если у вас дома блюдо «тиккамасала» считается невероятно экзотическим, то учиться в одном классе с «иностранцами» – верх дерзости, вызов традициям.

Мы с Майклом выросли в атмосфере бытового расизма, которая не изжита до сих пор – где угодно можно услышать нелицеприятные замечания о черных легкоатлетах на Олимпийских играх; или кто-то отказывается признать, что китайцы – новые владельцы рыбной забегаловки – в принципе способны правильно пожарить рыбу в кляре; или слышатся завуалированные намеки на запах карри и жестокость японцев, или рассуждения о том, что в странах третьего мира не было бы голода и засухи, если бы люди там научились разумно управлять государствами.

Я пошла учиться в колледж в попытке вырваться из этого мира, расширить горизонты, стать свободнее. Что ж, в этом я определенно преуспела.

– Однако, – продолжаю я, пока прилив храбрости не схлынул, – еще там был Джо. Джо Райан. Сейчас мне кажется, что родители с бо́льшим пониманием отнеслись бы к иностранцу. Да они и сочли его совершенно чужим, он был «не нашего круга», понимаешь?

– Понимаю. То есть этот Джо и есть Папочка Джо-Джо? Звучит как прозвище джаз-музыканта из двадцатых годов, если мне позволено будет заметить...

– Он не был джаз-музыкантом. Он был... обычным парнем. Самым красивым из всех, кого я когда-либо встречала.

Майкл подпирает подбородок руками и устремляет на меня мечтательный взгляд. Могу поклясться, что услышала, как с его губ сорвался тихий вздох. Помнится, Майкл рассказывал, что в старших классах зачитывался любовными романами «из-за всех этих ослепительных мужчин, красавцев и страстных опустошающих поцелуев».

– Расскажи о нем. Обожаю истории о красивых парнях...

Закрыв глаза, я представляю себе Джо, каким увидела его в тот первый день в колледже, когда он склонился ко мне, в вязаной шапочке и мешковатых джинсах, вижу, как улыбка озаряет его лицо. Знаю, сейчас он выглядит не так. И еще знаю, что он точно изменился – мы оба стали другими; слишком многое с тех пор произошло. Но сейчас – он передо мной, как живой, в лучах солнца, карие глаза блестят, и он помогает мне встать.

– Он был очень красивый, но и такой, знаешь, немного опасный. Высокий, старше меня, у него был автомобиль. Классическая машина лихачей – «Форд Фиеста». Перед парнем с машиной устоять невозможно. Ну и густые темные волосы, большие карие глаза и лукавая улыбка, как у пирата... как будто на уме у него одни шалости, от которых кто угодно придет в восторг.

– Потрясающе! Обожаю нахальных пиратов. Наверное, он был похож на актера из «Полдарка»⁴, да?

– Гораздо симпатичнее, – с улыбкой отвечаю я.

Конечно, мне он казался красивее всех.

Майкл восторженно охает и спрашивает:

– А ты, Джесс? Какой ты была тогда? Невинная девственница из сонной деревушки?

Похоже, Майкл придумывает свою историю, он всегда отличался склонностью к романтике. А реальность куда прозаичнее. В жизни мы встречаем не радужные фантазии, а правду всех цветов и оттенков.

– Можно сказать и так, – отвечаю я. – Мы с ним выросли в разных мирах. Я жила здесь, училась в престижной школе, у меня было все самое лучшее, и все же чего-то не хватало. Я задыхалась в рамках строгих правил, не понимая, как мне повезло. А Джо... рос у приемных родителей, кочевал из семьи в семью, жил в Манчестере и в Ирландии – там он родился. Жизнь его не баловала, но он ухитрился не попасть в неприятности, поступил в колледж, где был самым крутым из всех крутых парней.

У него было несколько по-настоящему устрашающих друзей, которые только и делали, что сквернословили, курили и были буквально увешаны серьгами, но на деле, стоило узнать их получше, оказались нормальными ребятами. Это было... так не похоже на мой привычный и знакомый мир. Меня захлестнули новые впечатления, учитывая, что я была невинной девственницей из сонной деревушки. Сам понимаешь, родители вовсе не пришли в восторг, узнав, что я не только завела парня, но и что такому парню они слова доброго не скажут до самой их смерти. Они не видели, какой он смелый, добрый, как безумно меня любит.

Майкл кивает. Он все понимает – сам сейчас мучается, пытаясь оправдать ожидания родных, выбирая между «быть самим собой» и «не отдаляться от тех, кого любит с детства».

– Представляю. Им подавай не мужественного пирата, а кастрированного викария, да? А как у вас все началось?

– Я влюбилась в него, как только увидела. В шестнадцать лет в таких парней влюбляешься за секунду – он был старше, излучал опасность, такой сексуальный и самоуверенный. Все при нем, как тогда говорили. Достаточно, чтобы потерять голову, – и только потом я поняла, что нашла в нем кое-что еще. Гораздо важнее были его преданность и стойкость.

Наверное, для него тоже все решилось в тот первый день. Потом он признался, что я его сразу очаровала, но все же он был старше, опытнее и не потерял голову с первого взгляда. Все по-настоящему началось в мой семнадцатый день рождения. Вскоре после нашей первой

⁴ «Полдарк» – британский исторический сериал, в основе которого лежит цикл книг Уинстона Грэма.

встречи. Я случайно столкнулась с ним в школьном коридоре, ну как – случайно... я знала, где у него уроки, знала его расписание и искусно все подстроила – оказалась в нужном месте в нужное время.

Наверное, он обо всем догадался. Джо знал, что у меня по расписанию английский, история и французский, а значит, незачем мне гулять по этажу, где преподают естественные науки и математику. Вслух он ни в чем не усомнился, за что я была ему благодарна, а когда я сообщила, что у меня день рождения, то улыбнулся – от его улыбки я всегда таяла. Прошло много лет, но я до сих пор помню то ощущение.

И он сказал – очень медленно и тягуче: «Что ж, в день рождения надо дарить подарки, но у меня с собой только пачка жевательной резинки – так что вот тебе и подарок... если ты, конечно, не хочешь встретиться после школы, выпить кофе или чего покрепче?» Конечно, я приняла приглашение.

Мы встретились после уроков, и, слово за слово, все и завертелось. Он подарил мне ту пачку жвачки – это стало нашей традицией. С тех пор каждый год он дарил мне на день рождения пачку жвачки. Только на мой двадцать первый день рождения я получила от него двадцать одну пачку. Ну вот, так мы и стали неразлучны.

Переводя дыхание, я даже улыбаюсь воспоминаниям.

– А дальше? Что же дальше?

– А дальше – все как обычно, – отвечаю я и встаю, чтобы заварить себе еще чаю.

На самом деле я не хочу пить, но чувствую, что лучше не сидеть на месте. Рассказывая мою историю, надо держать в руках что-то настоящее, и чайные пакетики «Тетли» вполне подходят.

– Я забеременела, и в 1999 году у меня родился ребенок.

Как обыденно это звучит. И если получится убедить себя, что я говорю о ком-то другом, возможно, действительно поверю в эту обыденность. Каждый день у миллионов женщин рождаются дети. Это самое обыкновенное чудо, классический изгиб круговорота жизни. Но речь о моем ребенке – когда я добавляю в чай молоко, у меня дрожат руки, а молоко кажется неестественно белым.

Майкл молчит, что ему несвойственно. Сидя за кухонным столом, он настороженно хмурится, будто отгородившись от меня бокалом с розовым джином.

– Тысяча девятьсот девяносто девятый... Год моего рождения. Джесс, это что, такая история, как показывают по телику или печатают в журналах под заголовком «Правда жизни»? На самом деле ты моя мать и позволила Розмари меня усыновить, чтобы избежать скандала?

– Нет! – твердо отвечаю я, искренне удивляясь причудам его воображения. – Нет, все не так! Майкл, милый мой, будь ты моим сыном, я бы ни за что не отдала тебя этим пришибленным волкам...

Он громко с облегчением вздыхает и тут же кивает:

– Понятно. Вопросов нет. То есть я бы не возражал, окажись ты моей матерью, Джесс, но... видишь ли... Тогда все получается слишком сложно, да? К тому же если подумать, то я припоминаю, что та поздравительная открытка была для девочки. А значит... у тебя нет дочери, Джесс. Что-то случилось...

Стоя у окна, я смотрю, как две сороки дерутся из-за пакета от картофельных чипсов, который шальным ветром занесло в наш сад. Одна сорока – к горю, две – к радости. Пожалуй, я испытала и то и другое.

Скрестив руки на груди, я сажусь за стол.

– Она умерла. Несчастный случай. Об этом я пока не готова говорить, Майкл, так что оставим эту тему. Пока. И, пожалуйста, не настаивай.

– Я бы и не стал, Джесс, – уверяет Майкл, накрывая мою руку ладонью.

В его глазах блестят слезы.

– И не плачь. Не надо меня жалеть.

Он тут же отдергивает руку и зажмуривается, чтобы стряхнуть слезы – попытка мгновенно выполнить все мои просьбы выглядит почти комично. Даже хочется приказать ему что-нибудь совершенно бессмысленное, вроде «погладь себя по животу и похлопай по голове» или «изобрази Мадонну в видеоролике на песню “Vogue”», и посмотреть, что сделает Майкл.

– Понятно... но я все-таки спрошу – это врач тебе посоветовал молчать и притвориться, что ничего не случилось? Я, конечно, в медицине – профан, но мне такой совет не кажется логичным...

– Нет, конечно! Ничего подобного! Сначала врачи помогали мне все вспомнить. Отыскать то, что мой разум надежно спрятал, чтобы меня защитить, провести меня по лабиринту воспоминаний. Принять горе, принять потерю, прожить боль. Очень мудрые и разумные советы. И я им следовала, до некоторой степени, когда уходила из больницы – а когда возвращалась и беседовала со специалистами, то каждое их слово помогало. Но они же не могли поселиться здесь, со мной?

Я оглядываю в высшей степени опрятную кухню, которой место в музее. Думаю о доме. Доме, ставшем тюрьмой.

– Никому нет нужды приходить в эту... гробницу! Мама старалась изо всех сил, делала все возможное, но вскоре после того, как я сюда переехала, папа заболел – обнаружили проблемы с сердцем. Мне казалось, что все из-за меня, его сердце не выдержало напряжения и всех неприятностей, которые случились по моей вине.

Его жизнь висела на волоске, все было слишком хрупким – и я снова стала забывать. Намеренно. И родители обо всем забыли вместе со мной. Мы сложили воспоминания в коробку и убрали на чердак – в эмоциональном смысле, и как оказалось, и в физическом.

Проследив за моим взглядом, Майкл рассматривает коробку из-под обуви, которая так и стоит перед нами. Самая обыкновенная коробка, наши отпечатки пальцев еще видны на слое пыли, пожелтевшая бирка на боку извещает, что внутри – пара мужских туфель «броги», а рядом картинка для тех, кто не знает, как выглядит такая модель.

Ткнув пальцем в коробку, Майкл произносит:

– То есть после того... несчастного случая... ты и оказалась в больнице?

– Не сразу. Прошло, наверное, полгода. Все ожидали, что мне станет лучше, но дождалось обратного, и в конце концов я совершенно потеряла голову. Мозг не выдержал напряжения, и я впала в протрацию. И еще два года жила как во сне.

Слова звучат горько, и, наверное, эта горечь одновременно оправданна и несправедлива. Вряд ли кто-то усомнился тогда, что я нуждалась в помощи. Честно говоря, меня, скорее всего, здесь бы не было, повернись тогда все иначе.

И все же я до сих пор помню ощущение глухой ярости и боль предательства, помню гнев, когда меня вырывали из мира разрушительного горя, помню, как злилась, когда меня заставляли жить дальше.

Я отчаянно цеплялась за ту боль – потому что больше ничего от нее не осталось. От моей драгоценной Грейси. Только боль потери. В моем сердце образовалась пустота, и я не желала ее заполнять. Пустота меня медленно убивала, но это все, что у меня было.

Майкл прокручивает в голове мой рассказ. Видимо, высчитал, что пока он ходил в детский сад, я получала еду на пластиковых подносах и принимала по утрам таблетки, запивая их соком. А может, он размышляет, не встречался ли с Грейси, а если встречался, то был ли тогда достаточно большим, чтобы запомнить те дни. Роемся в памяти, а вопросы задавать боится.

– Тебе, наверное, странно об этом слышать, – продолжаю я. – Приехал на похороны, что само по себе нерадостно, а пришлось выслушивать откровения о минувших днях, и теперь у тебя голова идет кругом...

– Верно, – тихо отвечает он. – Все очень странно и ужасно грустно. Джесс, я помню тебя с самых ранних лет, ты всегда была в моей жизни. Не такая, как все, готовая выслушать без осуждения. Ты никогда не казалась слабой или сломленной, хрупкой. И вот мы сидим здесь, и я до смерти боюсь этой картонной коробки и не представляю, почему ее содержимое чуть не свело тебя с ума.

Конечно, он не представляет. Разве это возможно представить? Ведь я так и не закончила рассказывать историю, не все факты выложила на стол. Я не раскрыла самый последний, изъеденный червями и покрытый личинками секрет.

– Понимаешь, Майкл, мне нестерпимо жаль, что все открылось именно в этот день. Я хотела бы вспоминать о маме с любовью. Думать о ее жизни с теплотой, зная, что никто не идеален, но мама сделала для меня все возможное. Так я хотела провести день ее похорон... однако теперь, боюсь, не получится.

Знаю или отчасти понимаю одно – она все сделала из любви ко мне. Старалась меня защитить. Но она меня обманула – и папа тоже. Они оба мне солгали.

Майкл долго хмурится и наконец находит в себе силы спросить:

– О чем ты говоришь, Джесс? Как они тебя обманули?

Глава 8

Лето 2003

При больнице разбит крошечный сад. Он больше похож на внутренний дворик, где кусты отказываются пышно цвести без солнца, а из трещин на мощенных камнем дорожках тянутся к небу вечно жизнерадостные сорняки.

Обычно сюда приходят покурить, хотя вообще-то курить в больнице запрещено. Но персонал делает вид, что ничего не замечает, и пациенты вместе с посетителями выходят сюда, тайком собираются за густым занавесом из ветвей плакучей ивы и выпускают клубы дыма.

Джесс сидит рядом с матерью на металлической скамье. Рут выглядит очень стильно в твидовой юбке, туфлях на низком каблучке и с сумочкой подходящего оттенка. Прическа надежно закреплена лаком, и лишь серые глаза выдают огорчение.

Джесс рядом с ней кажется маленькой, бледной и съезжившейся. Ее давно не мытые безжизненные пряди прилипли к голове, одета она в застиранные спортивные брюки, широкую футболку на голое тело и больничный халат. Сегодня тепло, однако Джесс зябнет. Она совсем ослабла и все время дрожит, как будто ночью к ней под одеяло забрался вампир и выпил всю жизненную силу.

Рут оглядывается при виде женщины, которая стоит в углу, лицом к бетонной стене, и громко разговаривает сама с собой, ее глаза округляются.

– Ничего страшного, – сообщает Джесс, откликаясь на выражение лица матери. – Это Мартина. С ней все нормально.

– Тебя скоро переведут отсюда, Джесс, – резко произносит Рут, отворачиваясь от Мартины, которая ритмично качает головой и беспорядочно размахивает руками. – Мы нашли тебе другое место, получение.

Джесс понимает, что ей говорят, но никак не реагирует. Она до сих пор едва ли ощущает свое присутствие в мире, иногда ей кажется, что все происходит во сне. Все в тумане, призрачное, как будто смотришь сквозь густую белую пелену, за которой мелькают яркие пятна.

Иногда Джессике кажется, что ноги отказываются служить и стоит встать с постели, как она упадет на пол, попытавшись сделать хоть шаг. Иногда она смотрит повторы сериала «Фрейзер» – телевизор подвешен в палате почти под потолком – и считает, что доктор Крейн – ее лечащий врач. Иногда ей кажется, что она – призрак и ее никто не видит.

Как ни странно, ничто из этого ее не огорчает. О такой пациентке, как Джессика, врачи психиатрической больницы могут только мечтать: она не спорит, не пытается себя изувечить, не кричит по ночам, не мочится при посторонних, не нападает на медсестер, обвиняя их в том, что на ней испытывают новые лекарства по приказу правительства. Слышно Джессике, лишь когда она тихо напевает печальную песню, в которой иногда можно разобрать несколько слов – «Baby, I love you». Джессика повторяет их раз за разом.

Она провела в этой больнице уже два месяца, и гнев из-за того, что ее привезли сюда незнакомцы, которые внезапно ворвались к ней домой, потускнел. За это время все потускнело, и Джессика привыкла к заведенному в больнице порядку.

Она принимает лекарства, слушает, что говорят доктора, и молча старается выжить. Новая жизнь окутала ее так крепко, что почти стерла из памяти воспоминания о прошлом, о жизни в другом мире, но, может быть, это и к лучшему. Жить в другом мире было слишком больно.

Раз в неделю Джессеку навещает мать – приносит духи, которые Джесс не открывает, журналы, которые она не читает, и сладости, которые она не ест. Одного от матери не добиться – ответа на вопрос, который Джессека задает при каждой встрече.

– Мама, когда придет Джо? – спрашивает она, и не раз произнесенные слова с привычной легкостью слетают с губ.

Она задавала этот вопрос, совершенно точно – задавала, может быть, неделю назад или несколько минут назад, уже и не вспомнить. Или никогда не задавала, и ей только кажется. Или это единственные слова, которые она произносит уже несколько лет. Время течет не так, как раньше.

Рут стискивает губы, и помада заполняет крошечные морщинки в углах рта. Она берет дочь за руку.

– Моя милая девочка, – говорит Рут, отводя безжизненные пряди с бледного лица дочери, оглядывая Джесс так, как делают только матери.

Она замечает тусклый взгляд, обтянутые кожей скулы, видит, как медленно Джесс закрывает и открывает глаза, как будто смотрит на мир сквозь густую пелену.

– Что мы с тобой сделали?

Джесс не противится прикосновениям, она не ощущает ни утешения, ни отвержения. Облизав пересохшие губы, она снова спрашивает:

– Мама, когда придет Джо?

Кажется, она уже задавала этот вопрос. Или ей только кажется.

На лице матери появляется выражение, которое Джесс узнает даже сквозь пелену – предстоит Серьезный Разговор. Хорошо, что она помнит, с каким выражением лица начинают Серьезный Разговор. И хорошо, что она еще помнит чьи-то лица.

Когда мама пришла в первый раз, было гораздо хуже. Все были расстроены, или рассержены, или испуганы, и никто не знал, что будет дальше. Иногда Джесс не узнавала мать, а иногда узнавала, но все равно с ней не разговаривала. Она вообще ни с кем не разговаривала, так сердилась на всех, уверенная, что они желали ей зла.

Теперь, как говорит ее лечащий врач, психиатр, кризис миновал, и дальше будет только лучше. Однако предстоит еще много работы. Доктор повторяет эти слова из раза в раз, как будто все зависит от Джесс, от ее трудолюбия и желания стараться изо всех сил.

И теперь, когда мама приходит, Джесс ее узнает. И помнит, что предстоит много работы. Она знает, что нужно быть внимательнее, заставить усталый и израненный разум очнуться. Если у мамы на лице выражение, с которым начинают Серьезный Разговор, значит, надо слушать внимательно.

Мать начинает что-то говорить, и тут Джесс вспоминает, что, кажется, видела Джо, давно. Может быть, прошел день или целый месяц. Вроде бы она видела его в окно, за стенами ее нового мира, в который он пытался войти. И его увлекли высокие широкоплечие мужчины, которые охраняют вход, поднимают решетку, опускают мост и кормят крокодилов во рву. Если, конечно, ей не показалось.

– Мне кажется, он приходил, – безучастно произносит Джесс, не сводя глаз с плакучей ивы. – Но не смог войти в замок.

– Нет, Джессека. Джо не приходил. И не придет, – отвечает мать, пристально глядя дочери в глаза, будто стараясь донести до нее смысл сказанного.

Сядь ровно, выпрямись, сосредоточься, сосредоточься, сосредоточься – звучит Очень Важное Сообщение.

Джесс выпрямляется и закутывает руки в теплый больничный халат, пытаясь согреть пальцы.

– Он не придет? – спрашивает она, показывая, что все слышит.

Она ведет себя правильно и делает все, как нужно. Если бы она раньше вела себя так хорошо, то не угодила бы сюда, ведь так?

– Нет. Он уехал, Джессика. Сказал, что больше так не может – просит его простить, хочет начать все заново. Он переехал в Лондон и не желает ничего о нас знать. Считает, что всем будет лучше, если он просто... исчезнет. Мы не знаем, где он живет, у нас нет его номера телефона, он попросил попрощаться с тобой за него. Пожелать тебе всего наилучшего и скорейшего выздоровления.

Джесс слушает, склонив голову набок, как очень сосредоточенная птица, при этом она покачивается вперед-назад и хмурится, мысленно перебирая услышанные слова и пытаюсь уловить их смысл. Она разжимает было губы, чтобы задать другой вопрос, но мать берет ее за руку и гладит по пальцам.

– Не спрашивай меня ни о чем, девочка моя, – у меня нет ответов. Он уехал, больше я ничего не знаю, и он не вернется. Но ты не беспокойся, я здесь, и папа тоже, мы о тебе позаботимся, ты же понимаешь?

– Джо уехал? Джо не придет?

– Да, милая. Ему очень жаль, но он не вернется. Он уехал навсегда.

– Уехал навсегда, – медленно повторяет Джесс и растерянно моргает, глядя на мать и пытаюсь осознать эту новость.

Начинается все тихо, с одинокой слезинки, которая скатывается из уголка правого глаза. Потом слезы катятся из обоих глаз. Потом Джесс начинает раскачиваться сильнее, дергает и рвет халат.

С губ Джесс срывается крик – пронзительный и долгий, похожий на свист. Иногда Джесс на мгновение умолкает, чтобы втянуть воздух. Ее захлестывает волной паники, нестерпимый ужас рвется наружу. Пронзительный свистящий звук становится громче, потеряв равновесие, Джесс падает со скамьи.

Она лежит на бетонной дорожке, спутанные волосы закрывают ее лицо. Ноги дергаются, свист переходит в крик, а крик – в вопль.

Рут вскакивает, не сводя глаз с беспорядочно дергающейся груды – руки, ноги, растрепанные волосы, слезы, сопли и дикий вой. Это ее дочь. Ее милая маленькая девочка, совершенно сломленная.

Рут не представляет, что можно сделать, а другая женщина, кажется Мартина, тоже начинает кричать – крик распространяется, как инфекция.

Рут опускается на корточки и тянется к Джесс, пытаюсь обнять ее или хотя бы защитить ее голову от ударов и резких движений. Ее оттесняют медсестры. Обе в серой униформе, похожие на охранников, с тяжелыми ремнями и в ботинках на толстой подошве. Одна из них поднимает Джесс, будто пушинку, и обращается к ней решительным голосом, ничуть не огорчаясь и не пугаясь происходящего. Вероятно, медсестра не раз была свидетельницей подобных сцен, и они ее больше не трогают и не ужасают.

Поставив Джесс на ноги и буквально зажав между собой, женщины полуведут, полунесут ее в здание, чтобы осмотреть, обработать раны и связать, если потребуется.

– Ну хватит, Джесс, милая, все будет в порядке, – произносит одна из медсестер, когда они протаскивают вопящую Джесс в дверь. – Зря я надеялась, что с тобой не будет хлопот...

Рут стоит на месте, дрожа от страха и унижения, исполненная раскаяния и решимости. Она подбирает упавшую сумочку, оправляет юбку и говорит себе, что все будет хорошо. Все пройдет. Все наладится.

Глава 9

Майкл несколько ошарашен таким поворотом, и я его понимаю. Он прижимает бокал с джином к груди, как почтенная дама в черно-белом фильме, шокированная новостями о жене-викария, сжимает нитку жемчужного ожерелья.

– Черт, – наконец произносит он. – А это... совсем плохо. То есть, конечно, тетя Рут всегда казалась черствой, но вполне порядочной женщиной, понимаешь? Она никого не осыпала поцелуями и не вытворяла ничего вопиющего, например не регистрировалась в популярных социальных сетях, но она была... Ну ладно, в глубине души она была из тех, о ком говорят «у них доброе сердце». А теперь оказывается, что она была... злая? По сравнению с ней, Круэлла де Виль – сама доброта?

– Поскольку мы ее сегодня похоронили, я бы хотела с тобой поспорить, – отвечаю я, стараясь изо всех сил говорить спокойно. – Из уважения, из любви... кто знает? Сегодня мне бы очень хотелось верить, что она не была злой – я бы хотела запомнить ее другой, но у меня не получается. У меня едва хватает сил объяснить все с точки зрения здравого смысла. Может быть, ты мне поможешь? Может быть, ты в состоянии рассуждать логично, Майкл?

Фыркнув, он издает неловкий смешок, но, взглянув мне в лицо, ошеломленно приподнимает брови:

– Ох! Ты серьезно... Ну да. Хорошо. Посмотрим... может быть, он и правда уехал и, может быть, действительно сказал, что больше тебя знать не желает. Может быть, она просто все тебе честно рассказала. И вовсе она не злая. И никогда не была.

– Тогда почему он присылал письма, открытки и поздравления?

– Может быть, передумал.

– А зачем мама их прятала?

– Затем, что... может быть, она... все-таки... была злой? – предполагает он, вскидывая руки, будто защищаясь. – Нет! Подожди! Может быть, она прятала письма, потому что считала, что так будет лучше. Что если он один раз тебя бросил, то уйдет снова, а ты слишком хрупкая, чтобы выдержать такое опять. И раз уж он покинул тебя в час нужды, то ему нельзя доверять, и когда он написал, то... она приняла тайное, но вполне объяснимое решение скрыть все от тебя?

Я киваю и мысленно поворачиваю эту теорию так и сяк, отыскивая ошибки или неточности, проверяя на прочность, как простукивают дыню в магазине.

– Наверное, – сдаюсь я, – такой поступок совершают не со зла? Она видела, что со мной стало, когда он ушел в первый раз, как мне было плохо, и решила защитить меня от подобного в будущем. Может, так и было...

– Вот только... – Майкл хмурится и прикусывает нижнюю губу.

– Что – вот только? Мне не нравится твое «вот только».

– Вот только слишком долго это от тебя скрывали, понимаешь? Почему бы не рассказать тебе обо всем, когда ты поправилась и окрепла достаточно, чтобы жить дальше? Ты пережила смерть отца. Нашла работу. До того, как твою маму разбил первый инсульт, было достаточно времени, чтобы все тебе выложить. Возможно, я просто не понимаю, но почему не отдать тебе коробку с письмами, чтобы ты сама решила, как к этому относиться? Предположить можно все что угодно. Например, она собиралась тебе рассказать, но не успела. Никто не знает, когда случится инсульт, такое не планируют, то есть болезнь застала ее врасплох, а потом она уже не могла с тобой толком общаться. И все же... Не знаю. Никак не могу понять, почему она тебе не рассказала. Честное слово, не могу. Понимаю, мы не рылись в коробке, но писем и открыток там много, очень много – и возникает вопрос: сколько лет он тебе писал?

Я отвечаю Майклу раздосадованным взглядом, хоть и понимаю – это несправедливо. Ведь я сама попросила его найти логическое объяснение. Даже после всех инсультов мама

вполне могла общаться, пусть и не слишком красноречиво, но могла, тем более со мной. Конечно, она говорила о самом насущном – об одежде и туалете, о телепрограмме на неделю, просила болеутоляющие лекарства, – но я всегда ее понимала.

Возможно, ей было слишком трудно выразить свои мысли и чувства о чем-то более сложном или, когда мозг пострадал от кровоизлияния, она просто забыла о письмах? Как ни жаль, но правды не узнать.

– Плоховато справляешься с задачей, Майкл. Твоя речь на тему «Докажи, что моя мать не ходячее зло» – полный провал.

– Знаю, знаю... может быть, не стоит обсуждать это да и думать тоже не надо... особенно сегодня. Пойти лучше в паб и спеть что-нибудь под караоке?

– Сегодня нет караоке.

– Разве нас этим остановишь?

– Я... нет. Я не могу так просто все бросить. Мне кажется, нет, я знаю, что все ее действия были продиктованы благими намерениями. С ее точки зрения. Она меня любила. Моя мама. Даже если этот поступок кажется неправильным, даже если он и был неправильным, она сделала это только из любви, как бы странно она ни представляла себе любовь. А значит, она не злая, и что бы ни случилось, когда я буду читать эти письма, я постараюсь, хотя бы постараюсь, об этом помнить.

– Ты права, – отвечает он. – Она тебя любила – сомнений нет. Однако в нашей семье любят странным образом, тебе не кажется? У меня сложилось ощущение, что твои родители не желали видеть Джо. А ты лишь доказала их правоту, вляпавшись в историю, не окончив школу. И тогда они... ну, в худшем случае либо соврали тебе, когда сказали, что он уехал, либо не пустили его к тебе, когда он попытался начать все сначала. Возможно, они желали добра, но результат получился сама видишь какой – ты сидишь тут, разгребая этот чертов замес, а он, наверное... не знаю. Да и кто знает?

– Ни один из этих вариантов хорошим не назовешь, – вздыхаю я и касаюсь коробки кончиком пальца, мысленно проникая внутрь, в воображаемую вселенную, где есть Джо. И где мы вместе.

– Не особо. А еще мне интересно, как они это провернули – твоя мать подкупила почтальона?

– Откуда мне знать? Может, она убила почтальона и съела его с фасолью под бокал кьянти. Такое ощущение, что я провалилась в кроличью нору и меня уже ничем не удивишь. Это случилось так давно, и я в те дни не слишком «дружила с головой», если можно так выразиться, да и... Я помню, как меня в конце концов привезли домой – меня не раз переводили из больницы в больницу, все сплошь чистенькие, но такие тоскливые заведения – так вот, я тогда подумала, что дома ничего не изменилось. Почти ничего.

Я сидела вот здесь, за этим столом, а мама сновала по кухне, заваривала чай, пока папа понес мою сумку наверх, в спальню, а медсестра, которая меня привезла, говорила что-то о погоде и записывала номера телефонов на случай, если я опять сорвусь. Меня привозили домой и раньше, но ненадолго, а тот раз я помню, помню, как подумала, что две вещи явно изменились.

– Какие? – нетерпеливо спрашивает Майкл. – Не молчи, неизвестность сводит меня с ума.

– Во-первых, пропал маленький домик в саду, сарай для инструментов. На том месте пробивалась трава, но все равно темный прямоугольник бросался в глаза. Мама сказала, что произошел «несчастный случай», но волноваться не о чем. И еще: поставили новый почтовый ящик, как в американских фильмах. Такой, у дороги, чтобы почтальон оставлял в нем письма и газеты и не...

– ...и не подходил к дому? – заканчивает за меня Майкл, глядя в сад, на тот участок, где трава по-прежнему плохо росла, так и не оправившись после того, что бы с ней тогда ни случилось.

– Да. Все так. Я на такие мелочи внимания не обращала. Пыталась сохранить рассудок. А потом, когда все-таки спросила о почтовом ящике, мама ответила, что почтальон приходит очень рано и они не хотели меня будить, ведь мне нужно было выздоравливать. Понимаешь, это было неважно. Меня заботили куда более серьезные вещи, чем рассуждения о том, как родители решили получать журналы и счета за коммунальные услуги.

Зато теперь... наверное, теперь все ясно. Вот уже несколько лет, как я сама забираю почту из ящика у дороги. Это началось еще до того, как мама заболела, а уж после ее инсультов – больше было некому. И ни разу я не получала ничего необычного. Писем и открыток не было. Они перестали приходить. И я не знаю почему.

Майкл внимательно смотрит на коробку, бросая на меня косые взгляды, как будто ждет, когда я выговорюсь. Он знает, что решение принимать мне, и только мне.

Я молчу и не шевелюсь, лишь старательно дышу, как какой-нибудь персонаж из психоделического научно-фантастического фильма семидесятых годов, перед которым открываются параллельные миры. В конце концов Майкл не выдерживает.

– Можно все выяснить, – торопливо произносит он, глотая окончания слов. – Можно открыть коробку, все вынуть, рассортировать по датам отправления и посмотреть, что получится. Или – и я говорю серьезно – я могу взять коробку, привязать к ней что-нибудь тяжелое, вроде тетиной металлической коробки для чая в форме совы, и сбросить в канал. И забыть навсегда.

Майкл еще не договорил, а я уже отчасти согласна с его вторым предложением. В глубине души мне даже хочется сказать «Да». Стереть все, что было, забыть и не вспоминать. Не думать о вопросах, секретах и сомнениях. Ведь я обычная женщина, живу скучно, тихо, дни похожи один на другой. Я не героиня фэнтези, готовая отправиться навстречу приключениям.

И план Б – концы в воду, в буквальном и в переносном смысле, – наверняка одобрила бы вся наша семья.

Мама, папа, тетя Розмари и дядя Саймон настойчиво порекомендовали бы мне так поступить. Кухня будто бы наполняется их голосами: «Незачем ворошить прошлое», «Не буди лихо, пока спит тихо», «Не сыпь соль на рану»... банальности, которые говорят лишь об одном: молчи, избегай опасности. Приличия прежде всего.

И Майклу, и мне не удалось избежать издержек такого воспитания. Ему пришло в голову предложить мне такой план, а я серьезно размышляю, не принять ли его предложение, и ни он, ни я не высыпали письма и открытки на стол и не набросились на них, копаясь в переживаниях.

– Знаешь, раньше я была гораздо храбрее, – говорю я, обращаясь к Майклу, к себе и даже к коробке. – Отважнее. Я была совсем другой.

Майкл склоняется ко мне и накрывает мою руку ладонью. Я и не предполагала, что мои пальцы так дрожат, пока не ощутила тепло его руки.

– Джесс, ты по-прежнему храбрая, – мягко произносит он. – Отважная. Ты вернулась из настоящего ада. Потеряла ребенка. Возлюбленного. Похоронила отца. А теперь и мать, после долгих лет заботы о ней. Ты очень храбрая.

Майкл на удивление похож на Джо. Не внешне, а тем, как вовремя он находит нужные слова. Как он умеет разглядеть во мне то, чего я в себе не вижу. И я улыбаюсь ему.

Джо был моим кумиром. Он всегда меня защищал, с самого первого дня, с первой встречи. Когда меня сбивали с ног, он протягивал руку помощи. Он никогда не смеялся над моими слабостями и низкой самооценкой.

Когда мы сняли квартиру, я была беременна и пугалась собственной тени. Боялась ходить в забегаловку на нашей улице, где готовили кебаб. Одна мысль об этом приводила меня в

ужас. Стоять там в очереди к прилавку было все равно что готовиться к битве, игравшие на улице дети казались засадными отрядами. Однако Джо не смеялся надо мной, он говорил, что гордится мной, потому что я все равно делала то, чего боялась.

– Ты вышла на охоту и добыла нам кебаб, Джесс, – говорил он. – Ты смелая и отважная, когда без этого нельзя, – и никому не позволяй убедить себя в обратном.

Джо всегда казался стойким и практичным, он знал, как выжить на улицах большого города, в его облике и манере держаться было нечто такое, что не позволяло людям прицепиться к нему. Я так и не смогла подобрать точного определения его манере, он как будто говорил всем своим видом: «Не лезь, не то пожалеешь». Со мной он был добрым, как и со всеми, кто имел для него значение, но слабаком не был никогда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.